

A photograph of a dilapidated room. The walls are covered in peeling blue paint, revealing a light-colored surface underneath. Two vertical strips of patterned wallpaper, featuring a repeating diamond or floral motif in gold and beige, are pasted onto the wall. The wallpaper is heavily worn, with large sections missing, especially at the bottom where it has crumpled onto the floor. The floor is a light, dusty grey. The overall atmosphere is one of decay and neglect.

Дмитрий  
Исакжанов

доля  
ангелов

# Дмитрий Исакжанов

## Доля ангелов (сборник)

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=36066831](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=36066831)*

*Доля ангелов / Д. Исакжанов: Алетейя; Санкт-Петербург; 2017*

*ISBN 978-5-906980-29-8*

### **Аннотация**

Письмо Дмитрия Исакжанова зиждется на «поэтической платформе», сформировавшей лучшую русскую прозу прошлого, отмеченную стилистической тонкостью и особой теплотворной магией достоверности. Эта книга об истории самопознания человека наших дней, о трудном анализе переживаний и вочеловечивания своего опыта. Стиль ее «утверждает» особенный тонкий мир человеческой души, обычно бесследно ускользающий в жерле времени.

# Содержание

Доля ангелов

4

Конец ознакомительного фрагмента.

102

# Дмитрий Исакжанов

## Доля ангелов

### Доля ангелов

#### I

*Как привычно здесь, в ненавистной грязи, как покойно в лоне языка народа моего, как уютно у ног твоих, мама, у ног, пахнувших полынью и землей. Я возвращаюсь к тому, что знаю хорошо-хорошо, знаю вопреки стремлению своей души, к постылым своим корням, из которых рос, от которых отталкивался всю жизнь...*

– А помнишь ту руину на Маркса, сразу с моста – налево?

– Сталинскую пятиэтажку-переростка, со шпилем рога-тым, облезлую...

– Да-да, облезлую до кирпича, в струпьях штукатурки...

– И с карнизом над цоколем, узким и кривым, если смотреть сверху, кривым, как...

– И таким пыльным! Ведь его никто никогда не чистил – да и мыслимо ли это! – а дом в самом центре, и движение там...

– И ветер с берега!

– Да! И ветер! Поэтому карниз... был просто черным...

– И весь в валиках пыли...

– Да, пыли! Такой липкой и рыхлой...

– И со всякими интересными непонятными штучками в ней...

– И таинственными обрывками бумажек с расплывшимися письменами...

– И окурками, сухими, как куриные косточки...

– А на стеклах подъездных окон снаружи можно было писать...

– А почтовые ящики внутри были похожи на маленькие гробики для кошек...

– А кошки обходили по этому карнизу весь дом и, возвращаясь к месту исхода, ловко впрыгивали в распахнутые окна...

– А с торца – помнишь? – облезлая лестница, повисшая на одной руке, у самой земли...

– Да-да, на одной руке, пожарная... Но с земли до нее было не допрыгнуть, зато можно было смотреть на тусклый шпиль: в гулких летних сумерках и особенно в холодных сумерках осени казалось, что облака кружатся вокруг шпиля, разматываясь перьями...

– А когда темнело, в лужах красный свет светофоров отражался далеко-далеко, до Маяковского и до Жукова, и...

– Да, до Маяковского и до Жукова...

И казалось – с той стороны – что так будет вечно, а с этой

– кажется, что вечность – это то, куда невозможно вернуться.

Огоньки на приборной панели дрожат, сияя по левую руку, как угольки, подпрыгивают на ухабах вверх и, описав дугу, проваливаются вниз. И возвращаются на место. Машина летит вперед, я тоже смотрю вперед, по сторонам. И подаю мне из ночи стволы берез и особняки с заборами, и обносят ими, а мне – не жаль, мне все равно, что так. Я снова думаю и вспоминаю.

«+7 999.....»

*Даже если мы не будем вместе, у меня все равно будет от тебя ребенок»*

Только тонкие стекла с нежными вертикальными царапинами отделяют меня от ночи, льнущей справа и слева, как вода. Не дают смешаться, развеяться, раствориться. И я с усилием жмурюсь, словно вгоняю в себя ускользающую волю и затворяю дыры, через которые она может улетучиться, если ночь посмотрит мне прямо в глаза; я сжимаю губы, помогая сохраниться привычному порядку вещей. Все в мире связано, нет в нем ни одного лишнего движения. Жмурясь и цепенея, можно сохранять баланс сил.

Внутри себя.

Хватит уже распыляться, хватит! Не только истекающее семя лишает сил, но даже мысль, помышленная вовне, укорачивает дорогу жизни с того конца, что еще не виден. Нуж-

но сжаться, нужно остановить мысль и, повернув глаза к сердцу, смотреть только в себя. Ничего никому не отдавать сверх того, что уходит само. Мне страшно. Мне хочется жить вовнутрь. Я съеживаюсь, вжимаясь в кресло, и стискиваю ключи в ладони, чувствуя, как гряда зубцов оставляет оттиск на влажной коже. Я отвращаю слух от бормотания водителя и вглядываюсь туда, где красный отблеск: это встречный свет пронизывает веки, это кровь оmyвает глазные яблоки. Красный. Запрет. На холодных гребнях тают отсветы, до Маяковского и до Жукова. Стоять. Там где только сны и чьи-то голоса. Куда не вернуться. И я ничего никому не отдам, ничего, разве только то, что само найдет себе дорогу через поры, в микроскоп похожие на воронки с длинными извилистыми горловинами. Сил у меня нет, чтобы брать от мира сего, мне хочется плакать, и часто слезы текут сами.

Я не люблю женщин.

Когда бы она ни входила в дом, от нее веяло дождем и холодом. Перед тем как раздеться, она бросала сумку на комод, потом замирала, словно размышляя, с чего начать сегодня, и... нагибалась расстегнуть замки кримпленовых сапог. Или изгибалась, выползая из плаща. Или байроническим жестом тянулась ко лбу, обтянутому косынкой. Из каждой ее позы, как царапающая арматура из гипсовой пионерки, выпирала надменная отстраненность стойка, в последний момент дрогнувшего и не простившего того ни миру, ни себе. Избавиться от такого надлома невозможно, как невозможно

куда-то спрятать, девать всю свою судьбу. И кислый запах одиночества влекся за нею, как нескладная, диковинная для наших северных мест фамилия, принятая ею от мужа в далеком прошлом и утопившая в глубокой тени всю оставшуюся жизнь.

Она вносила себя в дом, как старинный выцветший gobelen в отсыревшей раме: громоздкой, тяжелой, на исходе сил прислонялась к стене и на несколько мгновений замирала. При взгляде из-за штор содержание его было, как всегда, невнятно, будто видимое сквозь толщу воды. Но если попробовать задержаться и посмотреть боковым зрением, как бы нехотя, как бы не желая видеть, и в то же время цепко и дрожа, как рыба, – блеклые нечеткие линии предчувствий, возникавших и обрывавшихся вдруг, проблески догадок, хаос наваждений, тревожные пунктиры тотчас оживали, разрозненное рядом начинало сплетаться, сочетаясь и единясь властвующей где-то там, над миром, гармонией, и сюжет начинал обретать смысл и законченность событий, которых, право, лучше бы и не знать вовсе. Событий свершившихся, вершащихся и вершимых в будущем.

Благодаря моей матери, – а я говорю о ней, нетвердая стихия приступала и полнила границы моих век с самого рождения, приучая к вечной изломанности мира на границе двух сред. С самого рождения глаза видели его искаженным, но душе, созревшей позже тела, потребовалось время, чтобы понять, что для всех событий, происходящих с нею, как

и в физическом мире, угол падения не равен углу отражения, потому что одиночество в этом мире намного плотнее, чем текущее сквозь человека время. И что именно поэтому в прошлом всегда звучат эха грядущих событий, но нужно потратить целую жизнь для того, чтобы научиться слышать их; чтобы понять, что если ничего не берется ниоткуда и нигде не уходит бесследно, то сколько бы сюжетных линий ни начиналось – общая картина все равно будет едина, а раз ход времени не линейен, то расплата может предшествовать греху, наказание – преступлению, а история, раз начавшись, допустим где-то с середины, может прерваться на время, но кончиться – никогда, пока не исчерпает саму себя, как вино, пока не отпустит ее судьба, и что начало ее может располагаться где-то ближе к концу либо в самом начале начал, тогда, когда действующих лиц еще и не было на свете, а была только сцена и круг слепящего света на ней.

Ее приближение я предчувствовал задолго до того, как в замочную скважину втыкался ключ, дверь рывком вдавалась вовнутрь, и сквозняки в зале начинали метаться, натываясь на оклеенные голубой бумагой углы, как на собственные ошибки. Это предчувствие, предощущение ее появления было подобно осязанию незримых силовых линий гудящих полей зыбкими клетками кожи, подчинению всех членов и соков тайной гравитации плывущего где-то за орбитами тела, принятию высшей силы.

Она вваливалась в дом с дождем на плечах, с мокрыми ав-

тобусными билетиками, облепившими ее сумку и на сквозняках падающими и кружащимися, как моль: осенняя тоска становилась поперек прихожей. Я выглядывал из зала в прихожую, почти не поворачивая головы, чувствуя, как тяжесть и пустота еще несбывшегося несчастья уже скребут меня по тонким ребрам, – так аквариумные сомики чувствуют землетрясение уже свершившееся в будущем и несущее свои разрушительные волны в настоящее. Мне хотелось бежать, схоронить, скрыть себя, я бросал свой выдуманный мир на полуслове и, словно в поисках убежища, суетливо оглядывал зал – каждый день, в шесть часов вечера! – все в порядке? Я ничего не забыл? Накидка на диване, мусор, цветы, газеты, пыль по периметрам? И взгляд метался от стены к стене, не находя ничего *такого*. Натюрморт Хруцкого, лоснящийся угол серванта, ламповый «Минск», драпированный кретоном от старого кресла, сигаретная позолота Стивенсона (потускла, стерлась, захватанная алчущими), малиновый палас с несмываемым пятном отцовской блевотины на полу, малиновый же ковер над диваном на стене, подоконник, оснащенный керамическими горшками, и опять книги... Книги, книги... Цветы и плоды знаний. Все то же, все как всегда. Острые грани серванта и стола, шторы, к вечеру напитавшиеся тенями. Я не знал, от чего на этот раз, но знал точно: буря разразится. Опять. Иначе не бывало никогда.

«+7 999.....

*Кот расскажи мне про себя»*

Дом, полный книг. Воздух его был густ и дурманящ. Прозрачный, с тонким привкусом корицы с утра, с первой страницы, воздух вяз к середине книги, в полдень, когда голова начинала кружиться, как от домашнего виноградного вина...

– Ты тогда уже попробовал вино?

– Да, в десять лет. Случайно. История была комической: отец ездил к матери во Фрунзе и привез оттуда две трехлитровых банки – одну с домашним вином, а другую с виноградным соком. Но милая бабуля перепутала наклейки, и я таким образом целых полторы недели причащался, когда хотел, в то время как отец хлебал свое из кружки и дивился некрепкости. Узнав, ворчал потом: «Попил ты крови...».

...как от домашнего виноградного вина, к вечеру воздух становился плотен и слоист, и пах тяжело и тревожно. Здесь, в зале, окнами обращенном к северу, солнца не бывало никогда, но желто-коричневые шторы были задернуты с мая по сентябрь. Я просыпался рано-рано, когда чай в стакане еще растворялся в сходном по составу спектре, и муха, справа под цветами, висела, как точка опоры всего мира. Того мира, что и сейчас – только закрою глаза – встает передо мной. Мира, который не нужно «вспоминать», как не нужно вспоминать все, что в жизни есть истинного, потому что оно всегда со мной. Мой мир набран выцветшим «таймсом», снесен кеглем в подвалы, на его блеклых задворках хранится все

золото мира. Он исчислен и поименован мною с детства, с тех самых пор, когда меня за руку отводили в сад, и, коротая время, я ходил там, давая имена всему, что видел.

Не разнимая век и не вставая, я через голову тянулся к столу за новой книгой и, открывая ее одновременно с глазами, начинал бежать по строчкам не останавливаясь, как канатоходец, напиваясь до одури пульсарами, радиоляриями, теориями бректиальных денег, геотермальными водами, похождениями Жиль-Б-ласа так, что, поднимая голову от страниц в полдень, не узнавал своим ячеистым, фасеточным зрением уже ничего вокруг. Марево стояло передо мной, и в нем то там то сям возникали символы, образы, представления, не связанные друг с другом ничем, кроме источника их происхождения. Мир, единый и цельный, был мне не под силу, я не мог удержать его и тем более носить его в своем сознании, но я вполне был счастлив своими разрозненными чудными находками, фрагментами этого мира. Витражи Собора Парижской Богоматери были для меня лишь набором цветных стекол, разделенных свинцовыми переплетами. Но какими переплетами! Мягкими и жирными, как свеча, и тяжелыми, как вещество нейтронных звезд. А стекла! Красное, желтое, фиолетовое, зеленое, черное... Детали, подробности, мелочи. Достоинства и грехи. Роланд никогда не становился Роландом, дважды разъятый на части, а Химеры, несмотря на тесноту балконов, соседствовали в гордом одиночестве, Одиссей лишь чем-то смутно относился к Пене-

лопе, Бытие расплзлось на главы и стихи. Но я смаковал каждую деталь, наслаждался ими по отдельности, тропами переходя от первой к последующей, и, как в калейдоскопе, новый дивный мир возникал из обыденных невзрачных деталей перед моими глазами стоило потрясти головой.

Стеклянная крошка, пластик, металл, песчинки, прах, сор! Раздражающие зрение, воспаляющие разум, заставляющие галлюцинировать наяву... Вряд ли из этих книг я что-то узнал о жизни, но я научился прекрасному бегству от нее. Какому захватывающему бегству! И в долгом этом бегстве знания, как житницы, хранящие впрок, кое-как питали меня. Начав нищим, в пути я начал собирать удивительную коллекцию диковин, попадавших мне в самых неожиданных местах: в лесу, на свалке, просто при дороге и бог весть где – там, где бывали другие, знавшие меня. Коллекция эта множилась многие годы и перестала пополняться лишь тогда, когда я убежал из родительского дома навсегда. Добытые сокровища повергались за стеклом серванта, в пространстве, отвоёванном у матери, к основаниям книг. Жук-рогач и жук-скарабей, красные, синие и желтые стрекозы, шип гигантской белой акации, рыба-черт, потерявшая на суше свое оперение, грациозная офиура, игла дикобраза, конский каштан и ртуть, вселённая в пустующий пузырек, жилистый свиль, мурманская рогулька, кабаньих клык, течением лет расщепленный надвое, рапана, снаружи похожая на камень и манящая человечески-розовым исподом, прочие жи-

лица улиток, как часовые пружины заведенные тайной силой жизни, и раковины пресноводные, закрученные в свиток, словно маленькое небо...

А над книгами, на шкафу, у самого потолка, стояли мои самолеты. Еще одна моя страсть, моя любовь. Роскошные гэдээровские красавцы от Пластикарта с цветными полосами и надписями по всему борту и серое советское убожество стояли ровным рядом от самого начала и до конца полированной «стенки», привезенной отцом из Фрунзе. Сам факт наличия всех этих «Каравелл», «Ил-62», «ДС-10» и прочих доводил мать до белого каления. Я хорошо помню, как она бесновалась, трясясь и подпрыгивая, пытаясь во время «воспитательного процесса» ухватить какую-нибудь из этих птиц за крыло.

Прибежище мое и защита! Мечущийся взгляд останавливался на куполах и наверхиях голконды. На сокровищнице, защищенной от глухих рук нечутких моих товарищей, от глупых пальцев глухих рук их, от черных обгрызанных ногтей глупых пальцев глухих рук их отъединенной зеленоватым стеклом. Мне нужно было время, чтобы принять и смириться с тем, что она опять сейчас будет здесь. Опять будет носиться, как Эриния, по всему дому. Грозить моим сокровищам полным уничтожением. Согласиться с тем, что опять будет вопль и сотрясение стен втуне. А может быть, и не втуне – я лихорадочно вспоминал все, что было велено сделать на день, и сверял с содеянным. Воздух комнат ста-

новился совершенно тверд, и мне приходилось с силой продира́ться через него в коридор. Колени подрагивали, и потные ладони оставляли на косяках влажные отпечатки. Позорная метаморфоза: бесстрашный космонавт и летчик-испытатель превращается в слизняка, нестигаемый, как сталь, разведчик становится чем-то аморфным, целеустремленный ученый развоплощается в тычущуюся животинку. Моя блистательная жизнь кристаллизовалась вокруг страха. И как я ненавидел тогда этот свой дар предвиденья – он лишал меня последних безмятежных секунд! Я знал, что каждый рабочий день в восемнадцать ноль-ноль мне остается одно: стать по возможности незаметным и уповать на то, что сегодня она будет недостаточно раздражена для порки.

Вот – резко вращается ключ, и с хрустом, зло выламывается входная дверь из своего тесного проема, и лицемерно я плетусь в прихожую: «Привет».

А в выходные я просыпался так же рано, как и в будни, от грохота ее ненавистных кастрюль, шума воды и истошных воплей, адресованных отцу и господу богу: дело в том, что мамочка привыкла просыпаться рано. На завтрак всегда была рисовая каша под грохот прыгающей по всему коридору стиральной машины. Не то чтобы она придерживалась какой-нибудь очередной диетической рации – отнюдь, просто она была очень бережливой и считала глупым тратиться на что-нибудь «этакое», если можно набить брюхо за куда меньшие деньги, а постирать и так. И когда отец тайком покупал

окорок или ветчину, она пилила его за это, как за украденное. Впрочем, ветчину я любил не очень – она была жирная. Помню, один раз она вернулась откуда-то довольно поздно, около двенадцати, и, разбудив, потащила меня в кухню, где заставила достать из помойного ведра и съесть кусок сала, выковырянный мною из ветчины. Ничего личного, просто, с ее точки зрения, нерационально было разбрасываться продуктами.

Летом ли, когда я тыкался носом в оранжевое ситцевое платье, зимой ли, когда обнимал цигейковую черную шубу и слизывал чуть ниже ворота уцелевшие снежинки, – мы жили на третьем этаже и, пока она поднималась, не все успевали растаять, – я раскидывал тяжелые руки, осторожно прижимался к ней, вдыхая горьковатый аромат цветов лимона, и стоял так, пока не слышал раздраженное «Ну хватит, пусти и дай раздеться. Иди, я устала».

Зачем я это делал?..

Объятья спадали, как обруч с разохшейся бочки.

– О какой бочке идет речь? О той самой? Ты помнишь ее?

– Помню ли я ту бочку? Помню ли я ту... Позволь, я закрою глаза. Я хочу присмотреться, разглядеть то, что внутри. Что сложено по крупницам в муравьиной кромешности страхов, примет, обид. Душной тоски. На что в сокровенной тьме наша память от дней господних наброшена думкой, сквозь которую выпирает – проведи! – оно. А время, бессильное сровнять углы, огибает, уходит и возвращается с

прежней стороны – виток к витку приставляя и приставляя, пока не сгниет и не исчезнет всё.

Как и эта бочка.

По верху я легко мог обхватить ее руками, привстав на цыпочки, и вода в ней – всегда до краев – хватала за пальцы и жамкала докрасна в любую жару. Но дна бочки видно не было. Черное зеркало было очень отзывчивым и, дрожа, откликалось на все самое важное в этом мире: касание листа, трясение почвы, поцелуй паутины. И, конечно, на наше появление.

Помню, как я, до судорог в щиколотках, подолгу заглядывал в самую глубину, *туда, где долото быть дно...* «Неизвестное манит». Когда я это понял? Тогда или чуть раньше?

– Стремление заглянуть туда, в самую глубину, на дно...

– Даже, скорее, *желание*, а не стремление. Желание пассивно, оно женственно и имеет как бы страдательный залог, стремление же направленно и деятельно. Агрессивно.

– А ты не был агрессивным ребенком?

– Агрессивным? Нет. Агрессия свойственна любви, а мать меня не любила, и поэтому я не любил никого.

– Значит, по-твоему, женщина не способна любить?

– Думаю, что нет. Скорее, женщине дано лишь отвечать на любовь... Но недостаток любви я научился компенсировать. Я полюбил себя, как умеет любить ребенок, не знающий, что такое любовь. Вернее, даже не себя, а то нечто ускользающее, что могло бы содержаться в оболочке хлипкого тела.

– Душа?

– Вряд ли я называл это так. Я вообще не задумывался тогда над такими вещами. В конце концов, я был достаточно нормальным ребенком, и, хотя и был повернут на книжках, мировоззрение мое оставалось вполне себе материалистическим. Просто однажды... лет в десять, меня осенила мысль, что не все так просто: кости эти вот, кожа, волосы, ногти, слизь... Сначала эта мысль была смутной, но чем я дольше ее думал, тем отчетливей она становилась: на мир, изнутри меня, через мои глаза, смотрит что-то другое. Что боится и плачет. Страдает. Иногда – радуется. И мне было жалко это «что-то». Я представлял это себе таким эфемерным мальчиком, заключенным в тело мальчика земного. В меня. Болезненным, мягким, как дым. Вообще, я был довольно болезненным ребенком: сколько себя помню, попеременно болели то уши, то зубы. То все сразу. И простуды – уроки чтения. Вполне возможно, что вся моя меланхолия и чувствительность к страданию, вся моя мечтательность имели сугубо телесную причину, и если бы я, например, мог за раз сожрать столько яблок, сколько мой приятель Доцент, то вряд ли бы я когда-нибудь задумался о тех деревьях, что заключены в коричневых капельках внутри. Тогда же я вдруг стал панически, до ужаса бояться пораниться: стало страшно, что тогда во мне умрет это нечто. Вытечет из раны, из глубины меня, по разорванным синим трубочкам, вытечет вместе с кровью... Я разглядывал свои телесные отверстия и ду-

мал о том, что если чем-нибудь продвигаться по ним туда, вглубь, миллиметр за миллиметром, то вскоре погрузишься вглубь жизни, в самое нутро тела, кроваво-красное, трепещущее, подкожное, как... как... подкожное, трепещущее, кроваво-красное, отзывающееся на прикосновение электрическим разрядом боли в животе.

Со временем то, что было чувством, без любви умертвилось и стало мыслью. То, что было мыслью, позже окаменело и стало символом. Но особых сожалений по этому поводу я не успел испытать – так лишь, легкая тень промелькнула, словно краем прошло грозовое облако и вскоре ослепительное солнце снова засияло надо мной. Это сияние я заметил не сразу, как не сразу замечаешь, засидевшись над книгой в саду с самого утра, то, что уже полдень, печет немилосердно и все заливают ослепительный, нечеловеческий свет. Точно так же однажды я заметил свое отличие от других. От всех других: и ровесников, и взрослых. Отличие заключалось в том, что я почувствовал, что стал *посвященным*. Мне трудно сформулировать, что это значит, я... я был воплощен в мир, как незаконченная статуя воплощена в кусок мрамора, я уходил в него корнями. Питался его подземными водами, покоился в его гравитации. Суета людей, особенно броуновское движение сверстников, меня стали утомлять и раздражать, я старался избегать их, но иногда, поодаль от них, я замирал и с неясным чувством, похожим на зависть, наблюдал за звонкими играми и роением в летних сумерках, вол-

хованием над кострами в осенних парках и весной – на пустырях за домами, зимой, в темноте, пахнувшей взопревшей шапкой и слюной, – за вызреванием новых их звериных подноготных, и думал о том, что я бы тоже мог так, если бы... Если бы захотел. Свою инакость я чувствовал давно, но что такое было то чувство без материального подтверждения моей власти над вещностью. Я мог оценить красоту вещи, но был бессилён создать такую же. Я мог восхищаться совершенством произведения, но – и только-то, восхищаться чужим трудом, будучи бессилён сделать что-то свое, а ведь я чувствовал, я знал, что я тоже могу! Между осознанием возможности и реализацией дара оставалась лишь тонкая преграда, хлипкая фанерная дверь, и я бесился, сходил с ума от невозможности распахнуть ее, сорвать и отбросить, шагнуть туда, за нее, и взять руками эти сокровища, приручить их, приучить к рукам, а руки – к вещам и стать им хозяином. Гипс и дерево, воск, акварель, металл, стекло, бумага и глина расплзались, разваливались и превращались в ничто, слова, ноты бубнили, как мерзкие гугнивыцы, не становясь чистым звуком, а электричество самовольно выжигало себе новые тропы и плевало на тщательно вычерченные для него схемы. Я скисал, я превращался в уксус. Я томился, как король в изгнании, и проклинал свои предчувствия, я неохотно двигался вперед с повернутой назад головой, отсчитывая дни, которых уже нет, и не зная, что я уже хотел бы увидеть, и в тот год, когда мои руки научились делать желаемое, а ра-

зум – читать в формулах исповедь мира, я понял: вот оно, случилось. Обетованное.

Довольно быстро я удалил от себя всех друзей, оставив лишь двоих приятелей, наименее посягавших на мое свободное время и на личное пространство. Я наконец ворвался в ускользающую майю, чувствуя, как сопротивляется ткань, как трещат и... поддаются ее нити! В двенадцать лет я стал алхимиком и магом. Собирателем, коллекционером: ведь, прежде чем научиться повелевать вещами, нужно сначала окружить себя ими, нужно приучить их к себе и самому научиться обладанию ими. И разрозненные фрагменты стали собираться в единое целое. С усмешкой и превосходством я поглядывал на восхищенных моими драгоценностями приятелей. Колыванские пятаки, заточенные временем с одного края, как орудие писаря, марка королевы Виктории, краснеющая между страниц насосавшимся клопом, синюшные австро-венгерские кроны времен Фердинанда. Стопки каменной слюды, найденные на развалинах авиационного цеха, блестящие бусины, которыми начиняла радиостанции моя мать на заводе – вдобавок к прежним экспонатам. И, наконец, чемоданчик с принадлежностями для фотографии, который купил и унастил я сам на заработанные сдачей «Чебурашек» деньги. Я стал изучать искусство фотографии. Как одержимый я фотографировал предметы и вещи. Не сразу они проявили на снимках свой характер – для того, чтобы стакан с водой на снимке выглядел, как стакан с водой, я по-

тратил три месяца! Но мне это удалось наконец. Однако мне было мало этого, я хотел создавать материю сам! Я подвесил самодельную колбу, сделанную из электрической лампочки, ни на чем. Я стирал гранит в порошок тисками в дровяном сарае и отделял воду от тверди. Я наблюдал бракосочетание маслянистого глицерина с перманганатом калия – внезапное и разрушительное, как безумие, и обращал двуххромовокислый калий в гнездо аспидов одним прикосновением горячей спички. Я батареями разлагал воду вопреки ходу энтропии и самостоятельно открыл электролиз. Я нагревал азотную кислоту и молился богу. Задолго до своей зрелости я узнал запах мужского семени, вытирая с брюк и стряхивая обратно в таз с позитивами сероватую слизь карбоксиметилцеллюлозы. Я жег магний и, на ощупь блуждая в фосфенных миражах и клубях дыма, натываясь на кухонную мебель, выходил вон и ждал, пока свет не отделится от тьмы и очертания вещей не заключат меня в привычный круг мира. Пятна натриевой селитры, стекающей с газетных листов, высыхали и покрывали землю, как падшие звезды. Я узнал число Р<sub>0</sub> и число Авогадро. Я окружил себя хрупким миром стеклянных посуд и свинцовых сочленений, я полюбил истинную музыку: гармонические колебания волн света, воды и воздуха, но скорее – воздуха, одного только воздуха, входящего в меня через четыре отверстия и сообщаящего *тому, кто внутри*, «Радуйся!». Реторты, аламбики и алыситары...

– Ты говоришь, что свет делал тебя слепым?

– Да, на некоторое время – совершенно слепым.

– А ты не боялся ослепнуть насовсем? Не думал, что из-за какого-нибудь крошечного кусочка оксида магния ты мог лишиться самого главного в своей жизни – возможности читать. Помнишь, как постоянно тебе говорили: «Не смотри на сварку, не смотри, отворачивайся...»

– Нет, дети мало чего боятся. Только того, что знают. Мало знают – мало боятся. Но... Наверное, процесс пошел бы в обратном направлении...

– То есть?

– То есть, не имея возможности читать книги, я стал бы книги писать.

– Как это? Слепой-то...

– Ну, диктовал бы брату.

– И не жалко его? Ведь только-только писать научился, только-только человеком... Кем бы он стал, сызмальства чиркая под чужую диктовку?

– Да ведь он и так был замышлен всего лишь как мой дубликат. Копия. Дублер, как в отряде космонавтов, понимаешь?

– ?

– Уфффф... Ну, это такая история... Я сам ее узнал от отца только тогда, когда что-либо менять было уже поздно, когда брат стал братом. Таким, какой он есть. Да и что можно было поменять, если изменений не предусматривалось? В общем, у матери была подруга, ровесница Диана. Дама им-

позантная, с внешностью кариатиды. До спирту повадливая. И, видать, не только до него: родив сына, она сделала операцию по перевязке маточных труб. Чтобы не осложнять процесс последствиями, так сказать. Ну а мальчика в восьмилетием возрасте сбила машина. Насмерть. И все. Мать же моя, убоявшись того, что восемь лет ее собственных мыканий с оболтусом могут из-за какой-то случайности пойти псу под хвост, решила на всякий случай перестраховаться, и вот – родился мой брат. Сохраненная копия. Я никогда не сходил-ся с ним близко, не интересовался ни им, ни его жизнью – все это было настолько невесомо и проходило в стороне, как чужая свадьба, но, думаю, что при необходимости он мог бы мне послужить. Впрочем... не знаю...

– И что бы ты писал в двенадцать лет?

– Да, в общем-то, то же самое, что и сейчас: благодарность.

Впрочем, потребности говорить у меня тогда еще не было. Я имею в виду письменную речь. Я и устной-то пользовался тогда неохотно: когда ты один, слова не нужны, а людей вокруг я, скорее, воспринимал как помеху, чем как собеседников. А хотя... впрочем – нет.

– Ты имеешь в виду те *песенки* и *рассказики*?

– Да... но это были, скорее... спазмы. Спазмы сердца, говорившего от своего избытка, но никак не изложение опыта.

– А ты думаешь, что допустим только опыт?

– Не знаю... Хотя нет, знаю. Теперь – знаю. Опыт не обяза-

телен. Тогда любая песнь была песнью торжествующей любви. Я боялся людей и любил мир, и пел только ему и о нем. Это бывало нечасто, но иногда прорывалось, как сны, в которые вторгается жизнь дневной своей, зазубренной стороной. К тому же слова... Считанные с листа, они продолжали звучать внутри, не затихая помногу дней. Они звучали, звенели, бубнили, переполняя мою голову, спускаясь в нижние этажи, боля в животе. Я видел их, видел каждый звук – у них были свои цвета. Гром молнии был ярко-желтым, треск рвущейся ткани – ослепительно-белым, а шепот, который я слышал по утрам из-за закрытых двустворчатых дверей, – это разговаривала бабушка с моим отцом – был нежно-голубым. Слова входили в меня через все телесные отверстия и распирали, наполняли, раздвигали меня до краев видимого и запредельного. Проснувшись утром девственным и чистым, вечером я ложился в кровать беременным, несущим в себе завязь жизни. Я *вытворял* слова!

– О боже, это что-то гомосексуальное!

– Отнюдь. Душа, принимающая в дар, хранит это в себе и приумножает. А потом отдает. Каждую ночь я разрешался снами, но это было не то... Сны эфемерны, слово же, которое я наконец-то смог однажды родить, много позже, было...

– Но почему «родить», почему «беременный»?

– Ну а как? Вас смущает употребление слов, не свойственных полу? Но мальчики душою гораздо ближе к женщинам, чем мужчины. И чем девочки. В мальчиках есть женское на-

чало, которое впоследствии исчезает бесследно...

– Бесследно? Хм...

– Да. Так вот. Исчезает бесследно, тогда как у девочек это в результате поступательного развития просто перерастает в нечто, что превращает ее в нормальную среднюю женскую особь.

– То есть, теряя, ты тем самым сохраняешь потерянное навсегда?

– Да, совершенно верно. То, что я теряю, я сохраняю навсегда. То, что остается с нами, – безнадежно теряется, меняясь.

– Девочка, становясь женщиной, теряет в себе женское начало?

– Да. Понятия «женщина» и «женское начало» означают разное. Девочка становится женщиной, теряя в себе ощущение чуда. Просто новый виток ее персональной истории в прежнем естестве, с полностью обновленным сознанием. Обнуленным.

– Скажите «спасибо» мужчинам.

– Да не за что. Пardon. Знаешь, когда я, спустя двадцать лет, услышал Наташу по телефону, я понял, что еще минута разговора – и я потеряю огромную часть своего детства. Положил трубку. Разговор получился скомканным...

Я стоял, согнувшись над столом и над телефоном, лежащим на нем, и все пытался сглотнуть пересохшим горлом. И была во мне горечь. Та самая горечь, что переполняла меня

в детстве, когда я чувствовал свое бессилие перед порядком вещей, движением жизни. Я стоял и вспоминал, как любили мы запускать водолазов, сделанных из желудей. В ту самую бочку. Самые лучшие водолазы получались из желудей еще чуть-чуть зеленоватых, у которых шляпки держатся прочно. Мы плескались в этой воде, пока кисти не краснели и их не сводило, как куриные лапы, в горсть, которую уже невозможно было разжать. Имена мы давали этим водолазам...ох, господи, прости нас грешных.

– Ну уж, грешников нашел.

– Ей тогда было семь, а мне девять. Удивительная пора жизни. Когда вдруг понимаешь, что большая часть мира существует все же вонне, а твое тело – лишь часть его. Когда пробуждается истинное любопытство, готовое рискнуть благосклонностью взрослых и собственным покоем. Когда краски начинают бить по глазам, а тело реагирует на открытия непредсказуемо и агрессивно, как на боль. Когда, уединенный в саду, ты замираешь, понимая, что тебя снова и снова, неудержимо, тянет касаться нежного, открытого, и это еще так больно, так... так, что просто завораживает, и хочется чувствовать это новое ощущение опять, медленно, по складам, по клеточкам. Чтобы убедиться, что теперь и это – твое, и ты полностью владеешь им и можешь вызвать его к жизни, когда захочешь. Когда, не зная как это назвать, ты даешь имена спонтанно, ориентируясь на форму и цвет. Не зная назначения, придумываешь им свои версии и сам подбираешь

им места в настоящей и будущей жизни. Иррациональные, странные, страшные, чудовищные, как, например, мысль об *операции*.

Еще я научил тогда брата и сестру залихватской песне «Граждане, воздушная тревога...», и мы частенько орали ее на весь сад под насмешливыми взглядами деда, под укоризненные шепоты бабушки...

Про операцию я узнал год спустя, когда Люба, по страшному секрету, взяв с меня клятву о том, что я никому ничего не расскажу, показала мне шрам. Мы тогда сторожили с ней кукурузу, в Николаевке. Почему она выбрала именно меня, я не знаю. Хотя... может быть, дело в возрасте? Ей было уже почти четырнадцать, а мне – десять. Юрчику же с Наташкой – по восемь. И хотя вся наша ночная работа была скорее развлечением, но брать младших с собой... А вдруг они просто испугаются и заревут, затребуют домой? Наш чулан стоял на самой середине поля, и до бабы-Валиного дома было где-то с километр по этим джунглям, среди вымахавших уже под два метра стеблей, и ночью, когда луна плыла над самыми нашими головами, казалось, что сторожка наша стоит на самом краю земли, и дальше нет ничего. Только тьма, только тишина. И мир, теряя там самоё себя, обретал в материи новое: эту тишину и эту тьму, становившиеся веществом ночи. Ну и как бы мы их вели тогда домой? Да там заблудиться-то – раз плюнуть. Даже для такой взрослой девушки, как Люба.

В общем, на вторую ночь, уже усевшись на досках, покры-

тых чем-то вроде старых фуфаяк (при свете керосинки, стоящей, от греха подальше, в противоположном углу), мы заговорили о самых жутких и невероятных травмах в своей жизни. Я показал ей шрам на левой руке – от гвоздя в заборе, она – синяк на плече, который посадила, зацепившись за улей в сумерках. Этот жалкий синяк я с усмешечкой крыл вырванным весной коренным зубом. Тогда она, помолчав, с улыбкой спросила меня: *а что я знаю об операции?* Я поежился, вспомнив виденные в процедурном кабинете поликлиники блестящие жуткие лопаточки, клещи и бутафорских размеров шприцы, и, вздохнув, сказал, что ничего. Ничего, слава богу, не знаю. Я не стал признаваться ей в своем страхе перед текущей кровью, ранами, её источающими, и о тех *глубинах*, в этих кровотокающих ранах, которые ведут в самое сокровенное, туда, где обитает *душа*. Люба отвернулась, словно потеряв интерес к разговору, и стала смотреть в сторону, в один из темных углов, где шевелились наши тени и где особенно сильно пахло какой-то кислятиной, застоявшимся куревом и сухой травой. И так же не поворачивая головы она слезла с лавки, повернулась – только теперь – ко мне и сказала: смотри. Ее рубашка была снизу без одной пуговицы и, освобожденная из трико, легко разошлась широко в стороны, а пальцы с короткими грязными ногтями, как крючки, зацепились за резинку с правой стороны и быстро оттянули ее вниз. «Аппендицит! – сказала она торжествующе. – В прошлом году вырезали». От слова «вырезали» у меня, кажется, ослабели

не только колени, но и позвоночник. Я бессильно провис и склонился к самому шраму, едва ли не касаясь его носом. Он был багровый и узловатый, как кусок веревки, с белесыми короткими прожилками. Пересекая живот по правому краю наискось, нижним концом он доставал до редких рыжеватых волос, вившихся из-под резинки. Машинально я отметил, как пергаментная смуглая кожа живота внизу становится рыхлой... И отступил. Пересохшим горлом говорить было трудно, и я выдавил: «Ничего себе... Больно было?». «Не-а», – залихватски воскликнула она и ослабила крючки. Резинка щелкнула, возвращаясь на место, и полы рубашки сошлись вместе. «Это ж под наркозом делали. Я заснула – сделали, а проснулась – уже все готово». Я молчал, пытаюсь представить себе, как *руками* проникают *туда* – в трепещущее, красное. То, что «оно» трепещущее, я знал, поскольку не раз видел, как в деревнях у матери и у отца разделявают кур, потрошат рыб, запуская пальцы во вздрагивающие тела. Но с теми-то было проще – у них не было души, а вот человек... И еще эти... волосы... То, что они должны быть, я теоретически знал, но вот увидеть это... Какие-то плоские, жесткие...

«Все-таки странная она», – думал я, глядя себе под ноги. Вспоминая, как вчера Люба поймала этого киргиза – сама! Схватила и стащила с лошади за ногу, хотя он на год был ее старше. Сын степей верещал, что он все расскажет папе, что он больно ударился локтем, но Люба перехватила его за

шиворот, потом как-то ловко скрутила ему руки за спиной и позвала нас. «Бейте, – сказала она. – Он вас тогда напугал, а теперь вы ему отомстите». Разжалованный наездник выглядел совсем не так, как вчера, когда, сидя в седле, правил трусцой лошадь прямо на нас. Мышиные глазки уже не сияли, а щечки ввалились, словно он вынул все свои зубы. От слабосильных шлепков Юрчика и Наташки он вяло ойкнул, а я... бить не стал. Мне было противно. Все противно: и вчерашняя история, и сегодняшнее ее продолжение, поэтому я просто захотел все прекратить. И ушел. Люба потом догнала меня и спокойно сказала: «Ну и дурак. Они только так и понимают...»

И я мысленно согласился с нею: наверное, да, наверное, дурак...

А еще через три дня – или ночи? – уже перед рассветом я ревел, не стесняясь, и вдавливал свое сопливое лицо ей в живот, и твердил, что не хочу уезжать. Она растерянно гладила меня по голове и говорила, что не надо так, что мы обязательно еще встретимся, конечно же, встретимся! И – может быть, я просто испугался грозы? Но я говорил, что нет, и она понимала, что нет, конечно же, нет, ведь она чувствовала, что я не трус и не боюсь ни этой грозы, ни хлещущего дождя, но... Как трудно ей было поверить, что это – не из-за грозы. Она вникала в то, что происходило, как в чудо, как в сложную формулу.

И мы больше никогда не встретились.

«+7 999.....

*Да ты никогда и ни любил меня я всегда была для тебя  
только любовницей!»*

Сад радостей земных...

Много лет спустя, уже взрослым, я увидел эту картину и понял, что она – аллегория моего детства. И Наташкиного, и Юрчикова, поскольку их детства были вовлечены в мое, как пересекающиеся орбиты планет, как тяжесть и способность притягивать чуждые тела, взятые ненадолго займы. Как способность ненадолго входить в чужой мир и влиять на него своим присутствием. Сколько лет нам было, когда мы встретились? Не помню. Можно, конечно, высчитать, но зачем? Мне, наверное, было где-то семь... Меня выпустили в сад – хотя нет, конечно, нет, в саду этом я бывал и раньше, отец мне еще долго рассказывал с улыбкой, как я, трехлетний, в нем однажды заблудился, – но я говорю о вхождении в этот сад в ясном сознании, в памяти, способной хранить и нести с собой это чудо: девочку, которую подвели ко мне и сказали, что она – моя сестра, и мальчика, выбежавшего нам навстречу из угольного сарая. «Это твой брат», – сказали мне.

И мы бросились играть. В саду были веревочные качели, лежал свернутый черный шланг, из которого можно было брызгаться, у ворот, под абрикосовым деревом, жила собака

Альфа, которая взбиралась на свою будку и объедала абрикосы с нижних веток, и через все великолепии влажной жирной земли пролегал арык, на дне которого, накрытые прозрачной водой, торчком стояли и колыхались нематоморфы. А еще был амбар с сундуками, полными пшеницы и кукурузы, сарай с пузатыми банками и столярными инструментами деда, свинарник и дом, на чердак которого вела ржавая тонкая лестница, и трогать которую нам было строжайше запрещено. «А то цыганам скажу, они вас заберут», – так сказала бабушка.

Мир этого открывался нам не сразу. Мы узнавали его частями, весь день разбирали его и брали с собой, унося в свои сны. Именно тогда я впервые почувствовал, как подолгу не могу уснуть на жестких простынях, пахнущих пылью, как звучат, поют в беспокойном сознании слова, пытаюсь связаться, сцепиться друг с другом во что-то бесконечно прекрасное... А утром я прокрадывался по уже обжигающим доскам веранды на самый порог и смотрел в пустой без наших игр и криков сад и думал о том, что он глубокий, как омут. Может быть, там, со дна его, кто-то невидимый так же легко смотрел на меня.

– О, какие тебе мамка трусы купила! Прямо настоящие девчачьи! – шлепала меня по спине проходящая мимо с чашкой комбикорма тетя Галя.

Я смущенно улыбался, и мне было приятно и радостно от того, что, пусть чья-то чужая (но ведь не совсем же!), ма-

ма может со мной так разговаривать. Как приятель. От радости все во мне напрягалось, и, радостно напряженный, возбужденный, я стоял и словно кожей улавливал каждый миг и жест пробуждающегося дома, оживающего мира. Запахи отделялись от красок, слова от дней. Я чувствовал, как остро пахнет от ведра, служившего нам всем ночным горшком, как упирается в мизинец сучок доски, как звенит цепью Альфа. Как проходят дни лета.

Ликование и чудо явленного сада было дано нам всем. И каждый, в меру своей души, благодарил бога за эту радость явленной тайны восторгом и удивлением. Не в силах осознать грандиозность своего открытия в целом, мы, как мирмидоняне, переносили его образ в нашу повседневную жизнь по частичкам, творя свой космос из сухих веточек, страшных рассказов, листков раскрашенной бумаги, услышанных историй, монеток, клея за перевернутыми стульями, тяжелыми столовыми покрывалами, спускающимися до самого пола, скрывающими, когда взрослых не было дома, что у нас там...

– А картина? Почему ты не расскажешь про картину? Гобелен. Тот, что был слегка подмочен. Который уподобил ты воспоминаниям, лежащим поверх прошедшей жизни.

– Да, я и хотел как раз...

Живая картина... Просто мистика какая-то. Спустя много-много лет, уже в Москве, я однажды случайно достал из альбома ту старую уже черно-белую фотографию размером

с тетрадный лист и стал рассматривать ее. Чувствуя, как начинает колотиться сердце, а в голове – звенеть тишина... Та бочка с водой стояла в саду, под персиковым деревом. Набранная из узких, темно-коричневых досок, сверху она была сухой и горячей, а снизу, примерно на ладонь от земли, ее поверхность от поднимавшейся по ночам сырости была черной и на ощупь бархатистой, как велюр. Рядом, прислоненная к стволу дерева, стояла картина. Вернее, гобелен. Это я тогда, в детстве, называл ее «картиной». Это был портрет девушки...

– Не так...

– Да-да, не так! В том-то и дело! Вот именно, что не так...

Вот как все было: земля тогда была уже густо усыпана туго скрученными листьями – словно желтые червячки млели под жарким к полудню солнцем, и пусто было в саду и безлюдно в доме. Только гуканье горлиц, настойчивое и пронзительное, звучало еще совершенно по-летнему, только стены дома были еще горячи и терпко пахли ушедшим временем. В тот раз я приехал во Фрунзе поздно, в конце октября, отслужив, оттащив свои два года. И визит мой был печален, а на душе было горько, словно я приехал на кладбище. Город сменил имя – я узнал об этом от родных как стыдную весть, сказанную с досадой и недоумением. Альфа умерла, умер и дед, который появлялся в доме лишь утром и вечером, пропадая все остальное время в сарае, что-то постоянно чиня. Что можно чинить столько времени? Разве толь-

ко свою жизнь... Бабушка сильно постарела, и за домом в Канте смотреть уже было некому. Он разрушался изнутри и снаружи, впусивший в себя столько людей за эти годы, и сам, от этих многочисленных жизней, творившихся внутри него, ставший подобием человека, и потому, как человек – смертный. Юрчик только-только начал служить, а про Наташу, уехавшую учиться в Новосибирск, тетка сказала что-то мельком, второпях, как-то нехорошо перескакивая на одних глаголах, что-де учится, что все нормуль. И я подумал, что быть мне здесь и сейчас одному (хотя мог ведь высчитать это и заранее – Юрчик и Наташа были ровесниками), но печальнее уже не стало.

Я не любил своих близких – не любил, как люди любят людей: они были дороги мне лишь как часть антуража, как обстановка *моей* жизни, да и картина грусти была уже полна. Одна-две детали ничего не меняли в пейзаже. Но ужаснее всего было то, что я бродил по городу и не узнавал его. Искал своих отражений в окружении привычных с детства вещей, в давно решенном лабиринте улиц, бывших мне некогда впопору, и не находил себя. Ни его, ни себя. Будто я начисто лишился памяти. Новые улицы, новые имена. Это было похоже на сон, в котором привычная, давно знакомая дорога вдруг выходит на какую-то нелепую, голую, как нищенка, площадь Согласия. Эркиндик, с баранкой над головой. Я ходил пешком по когда-то знакомым, «нашим» местам, угрюмый и сосредоточенный. Панфиловский парк. Дубовый парк. Исто-

рический музей с каменными бабами у парадной. Поодаль – башня Т-34, одна, прямо на траве – как оторванная голова насекомого. Мертва, обжигающая и смердяща в нутре облезлом. Подарок засранцам. Где-то там, в покоях музея, стоит саркофаг со стеклянной крышкой, а под нею – мумия царицы. Я помню ее с детства – маленькую, как мы, обернутую во что-то ломкое, коричневое и серое, осиной выделки. «Как мы» – может быть, поэтому мне было тогда ее особенно жалко? Я относился к ней, как к несчастному ребенку, заболевшему чем-то непонятным и вечным. Едкий воздух прогоревшего костра лез мне в ноздри, дурманил так, что в голове скоро начинало что-то пульсировать и раскалывать ее изнутри болью, ослепительной, как солнце. Я склонялся над крышкой и заглядывал ей в лицо: «Вот, она умерла, – думал я, – неужели она сейчас и вправду ничего больше не чувствует? И ей не больно? И она не могла сопротивляться смерти тогда, как сопротивляются сну?». Я знал, как это: «сопротивляться сну» – наш самолет всегда вылетал в три ночи, и, для того чтобы не заснуть, мне разрешалось не раздеваться и не ложиться в постель, смотреть телевизор до тех пор, пока он не завоет, а экран не подернется безжизненной серой пленкой, пить чай, разговаривать с отцом долго-долго, обо всем на свете: о мамлюках, о люминофорах, о кольцах Сатурна, синегалках, венгерском восстании...

И сон одолевал меня все равно: незаметно и стремительно.

Глазницы этой девочки были пусты, а остренький подбородок и широкие скулы делали лицо похожим на кокор. Давно уже иссохший.

«+7 999.....»

*Я сплю после ночи. Пазвани мне в пять»*

Еще через год наш дом в Канте продали. Взамен него тетка купила новый, в самом Бишкеке, в Красноярском переулке. У греков. Белокаменный, словно акрополь, он был безлик и чужд мне. Наш старый дом, помнящий голоса всех нас и впитавший все наши запахи, настоятельно требовал ремонта, но безрукая и легкомысленная тетка пропиликала его легко и без сожаления, очарованная новизной побелки и изяществом кофейных чашечек, натрафареченных на стены. Я приехал тогда со своей первой женщиной, ставшей вскоре моей женой. Тетя Галя ничему не удивилась, а бабушка долго не могла понять: с кем это я? На Наташеньку вроде не похожа... Я помню, как в первое утро она растолкала меня и показала на висящую за распахнутым окном, высоко среди веток, грушу. «Смотри!» – ликующе воскликнула она. Мы выскочили из-под одеяла и подбежали к подоконнику. Не стыдясь, не думая, что сюда могут сейчас войти и увидеть нас *такими*.

И тогда я понял, что больше не нужно приезжать сюда, потому, что больше уже ничего нет.

Этот город был не просто точкой на карте, муниципальным образованием с суммой жилищ, накипью садов, желтой пеной жителей, напомаженными руинами административных зданий, россыпью музеев и жаркими трещинами улиц, начинающихся внезапно, как сон, и так же внезапно обрывающихся, он был точкой отсчета моей жизни, начавшейся тем не менее далеко-далеко отсюда, и центром расширяющегося круга моей памяти – к дому в Канте слетались два наших семейства со всех концов страны, стараясь не пропустить ни одного лета. Азиатского, тяжкого, пьянящего домашним вином и бесконечными семейными историями по вечерам в театрально освещенных виноградниках, где в сумерках выкликали то «лебединое озеро», то «муравьи», то, прости господи, «туда-сюда», а по ночам, дождавшись, когда дети уснут, взрослые куда-то уходили и возвращались лишь на рассвете, с таинственными полуулыбками на опустошенных лицах.

Но родительский обман нам не был в тягость и проходил легко, как случайные слезы. У них была своя жизнь, о которой мы шептались за закрытыми дверями амбара, на мешках с зерном, и мы знали, что потом и мы так же будем оставлять в неведение невинных, а пока что это неведение вяжет нас. Как круговая порука. И мне было сладко и тепло от этой беспомощности и привязанности к брату и сестре, в колышущемся зыбком мире древесных крон, сохнущего на веревках белья, в тонком мире невидимых токов и наитий. Но иногда где-то там, в самом-самом нежном месте схождения груди и

ветра, меня царапал холодок от того, какими нечуткими и грубыми были брат и сестра. Их нечуткость и равнодушие к тонкому очарованию жизни меня ранили так, что я поворачивался к ним спиной и надолго замыкался к себе, переживая их грубость как личное предательство, всем телом ощущая холодок отчуждения. Потом тревога проходила, и я забывал о царапинах, как о случайности. Но со временем это ощущение возникало все чаще и чаще, пока однажды я не заметил, что они от меня тоже отвернулись. Может быть, мое изгнание тогда и началось? И длилось все эти годы, длилось и в то прекрасное утро просто наконец закончилось. Незадолго до этого, дома, я прочитал, что наше солнце погаснет через восемь миллиардов лет. И, узнав это, я готов был рыдать. Я хотел лечь и лежать в ожидании смерти, мне было безумно жаль людей, которые будут жить через восемь миллиардов лет – и погибнут! жаль произведения искусства, которые есть и которые еще будут, – я представлял, как корятся в огне полотна картин, как песок заметает изъеденные ветром статуи, как уходят под землю дома, в которых уже никто не живет. И не мог понять: зачем жить, если все равно через восемь миллиардов лет все умрет? Если восклицает во мне и звучит эхом: «Пал, пал Вавилон!..».

Что мне были их интриги, их равнодушие? Подумаешь, «Посторонним вход воспрещен!».

«+7 999.....

*Кот, я кинотеатр еду с подружкой. Можно? Ни тиряй, там связь касячит»*

Воспоминания о саде у меня неразрывно связаны с воспоминанием о себе. Первые бессвязные отрывки начинаются примерно с трехлетнего возраста и не имеют ни длительности, ни смысла, ни общей тональности. Они звучат во мне какофонией: всплески красок, ворожба арыка, запах ванили, поднимающий бабушкин дом к облакам... Ее выцветший передник винегретного цвета. Ощущение истончившейся материи под плотно прижатым к ее огромному, мягкому животу лицом. Животное движение ее грузного тела. Сладкий газовый дурман на кухне. Лоснящийся жирный шланг, лезущий от баллона куда-то под юбку плиты. Тускло-желтые оклады икон под потолком, плохо запертые шкафы с книгами. Внезапная гроза, и отец, мывший меня во дворе в тазу как есть голого, в три прыжка заносит на крыльцо. Именно с тех пор при слове «гроза» я представляю себе гремящего стального Мой-Додыра, со сверкающими рогами в полнеба...

Осенние дни были подобны друг другу и ложились, как блеклые растрепанные карты, в одну нескладную колоду, и не было дня прошедшего и дня грядущего, но всегда был день один – нынешний. Ночей же не было вовсе. Моя подруга, не сказав ни слова, через три дня собрала вещи и уехала. Юрчик служил в армии, Наташа училась и жила в Новоси-

бирске, а ее родители, из года в год собиравшиеся вернуться на родину, все еще оставались в Красноярске. Мать же Юрчика – тетя Галя – человек нрава веселого и характера ветреного, недавно оставленная очередным мужем, искала теперь счастья во дворе знакомого автомеханика – невозмутимого корейца Кости (и, как рассказывали мне много позднее, таки нашла его, однако ж доведя своими похождениями Костю до рокового инфаркта), поэтому дома появлялась редко, влетая на своей выдавшей виды «копейке» во двор на полчаса, на час в день. Не дольше. Неслась по комнатам, крича в ту, где мать, «Привет, как дела?!» по пути на кухню, гремела там, готовя, и трясущаяся, выжившая из ума старуха, слышавшая голоса давно умерших предков уже гораздо лучше, чем голоса живущих, выползала в коридор и, стоя на четвереньках, долго смотрела в темную глубину, не говоря ни слова. Ее второй муж и отец тети Гали, дед Василий, в войну дважды бежавший из немецких концлагерей и привеченный родиной в Магадане, после освобождения так и не смог избежать обиды на несправедливость бабкиного бога и три года назад, не без помощи оковитой, отправился сводить с ним счета лично.

Я перебрался в маленькую комнатку налево от кухни – такую же, как в Канте, в которой останавливался с детства. От общего коридора она была отделена лишь занавеской, в общем-то, ненужной: не было посторонних глаз, от которых стоило скрывать хоть что-то, и не было ничего, что стоит

скрывать. Дом был пуст, как летняя школа. Я просыпался рано утром, наспех завтракал и отправлялся бродить по городу с фотоаппаратом. Снимки делались спонтанно, самозабвенно, даже тогда, когда громкий хруст явственно говорил: «пленка закончилась, пленка вырвалась и убежала из своего домика!» – я далеко не всегда слышал, что мне говорят. А еще я массу времени проводил в букинистических отделах книжных магазинов – у меня не было денег, но было воображение, и я брал книги как знаток, как библиофил, раскрывал их с задней обложки и смотрел тираж, год издания... Когда никого рядом не было, я нюхал их, сверяя запах этих, чужих книг с тем, что помнил с детства. Иногда запахи совпадали, и я замирал, представляя себе, где, в каких шкафах и каких домах они могли бывать. Еще я подолгу слонялся по улицам. Без цели и без усталости, без мысли, воображая себя всего некоей мыслящей фотокамерой, объективом, управляемым кем-то невидимым. Зрение выхватывало совершенно случайные объекты, фокусировалось на них и вело наблюдение до тех пор, пока объект не скрывался. Иногда я даже чуть-чуть преследовал его, отмечая все-все-все, даже мельчайшие детали поведения. «Почесал нос. Скомкал и выбросил билетик. Купил мороженое...» Город был не такой уж и большой, и я смело бродил по его улицам, не боясь заблудиться. Задумавшись, как лунатик, я уходил иногда далеко-далеко, к самым окраинам и, словно проснувшись, вдруг приходил в чувство и обнаруживал себя стоящим перед прекрас-

ными домами, играющим с золотыми шарами, кланяющимся ветру и мне. По рассказам отца я знал, что где-то здесь, в городе, живет мой настоящий, родной дед, бывший министр не то водного, не то рыбного хозяйства, потомок бухарского эмира, человек вспыльчивый, на любовь и на действия скорый, в расцвете лет в дубовом парке застреливший из именного револьвера хулигана, пристававшего к девушке. Как раз в то злосчастное время моя бабка, бывшая его третьей женой, едва разрешилась вторым сыном, моим отцом. Деда посадили, новорожденного назвали Константином. После недолгой отсидки дед вернулся домой и развелся с бабкой, женившись в четвертый раз. Вообще, сдается мне, если кому господь и обещал «размножу тебя, как песок морской», так это в первую очередь деду Арипу. Бабку же и взял тогда замуж дед Василий, после войны и Магадана оставшийся совсем один, и вот, в новом браке родилась их дочь Галина. Мальчик, сызмальства снедаемый завистью к своим друзьям из полных семей и поклявшийся себе никогда не разрушать своей, достигнув совершеннолетия, получил свой первый в жизни паспорт и, чтобы вычеркнуть память об отце навсегда, поменял отчество. Но судьба отомстила ему: городу, где он родился, изначально известному как город кузнецов, в 1991 году, словно девушке, насильно выданной замуж, вдруг сменили имя, и родины у отца не стало. Ничего в жизни не проходит бесследно, поскольку ничего не появляется просто так. Меняя имя, человек меняет самого себя, что ме-

няет он, изменяя отчество? Страшно подумать... Он меняет прошлое и пресекает будущее.

Искал ли я его нарочно? Пожалуй, нет. Или искал, но не его, настоящего, реально живущего человека, а словно хотел повторить и пережить заново то ошеломительное чувство встречи с семейной тайной, когда однажды все-таки увидел его: маленького, сухонького старичка, копавшегося в саду своего частного дома где-то в районе двенадцатого микро-района. Мы шли тогда по улице, у отца на руках был мой брат, который проголодался и все время канючил, и я, десятилетний, едва поспевал за его скорым шагом: все время приходилось скакать вприпрыжку, догоняя

свою тень. Внезапно отец остановился у какого-то сквозящего забора и, когда я поравнялся с ним, сказал: «Вон, оглянись – это твой настоящий дед». И тут же снова устремился вперед. Я торопливо оглянулся через правое плечо, но, услышав вновь удаляющиеся шаги, бросился догонять своих, стараясь не выпустить изо рта бешено заколотившееся сердце. Желто-коричневая шея, тубетейка, согбенная поза тщедушного тела – вот все, что я запомнил тогда.

Теперь, впитав и пережив память своих предков заново, прожив ее своей собственной жизнью, я просто поражаюсь, как легко в нашей семье родные люди, из поколения в поколение, отрекались друг от друга, как изощренно мстили и предавали. Ничтоже сумняшеся. Притом что у нас считалось греховным даже называть степень родства братьев и сестер

и не существовало двоюродных и троюродных номинаций: брат – значит брат, сестра – значит сестра. Но сын предавал отца, и жена отрекалась от мужа, легко сестра крала у брата, и племянница отказывалась от тети, надеясь отринуть, избежать семейного проклятия, представ назавтра пред Богом и судьбой чистыми, начав с красной строки, но Бог видел и помнил все, и не прощал ничего. Через многие годы судьба сводила вместе беглецов и клятвопреступников, жертв и палачей, предавших и преданных, чтобы шли они и одно поприще, и два, и три, и снова, и снова, и снова...

«+7 888.....

*Стрекоза, ты где?»*

По иронии судьбы, мой тот самый настоящий дед Арип заведовал как раз тем хозяйством, в ведении которого находилось рытье канала раскулаченной и сосланную с Иргиза в числе прочих матерью его будущей жены, а моей бабки Евдокии Артамоновны – Домной Ерофеевной Дюкаревой. Муж Домны Ерофеевны, Артамон Кузьмич, был убит на Первой мировой войне двадцати пяти лет от роду, где и как – неизвестно, и из поколения в поколение, ныряя из альбома в альбом, кочевал и хранился лишь один-единственный дагерротип ее отца: как водится, франт и красавец офицер в окружении однополчан. Ни звания его, ни имени полка семейные предания не сохранили. Там же, на берегу этого канала,

ссылными было основано и наше родовое селение, а в конце его главной улицы, впадавшей в БЧК (Большой Чуйский канал – спустя десятилетия превратившийся из образца рукотворного имперского чуда в заросшую ивняком и камышами речушку с бродом через шаг), был поставлен и первый дом, где жили сначала все.

Увлечшийся еще в армии нашей фамильной историей, я лежал, не зажигая света, на диване и представлял себе, как некогда, в одночасье, были сорваны с родных Иргизских болот все эти люди. Они считались «кулаками», к тому же – староверами. Как и большинство репрессированных, их собрали и выгнали на новое место без вещей, без денег. Но все судьба была к ним благосклонна, и в Годы Процветания умерли не все: из четырнадцати детей Артамона Кузьмича в живых остались три дочери: старшая, Зинаида, средняя, Ефросинья, и младшая, Евдокия. Выжившие стали плодиться и размножаться, возводя свои новые дома по обеим сторонам от того, самого первого нашего, а потом перебрались и на ту сторону дороги. Сначала – единственной, стараниями селян и природы превращенной в живописную пастораль, а потом появилась рядом еще одна такая же, еще... Постепенно короста палаток и временок стала сползать, являя миру образец новой чистой плоти на теле молодой братской республики. Да, как бы то ни было, но колода была брошена, и расклад вышел неплохим. В прикупе были истовость и вера раскольников, принесшие добрые плоды: из песка был собран посе-

лок, и имя ему было дано Кант, что значит «Сахар».

Если стоять к БЧК спиной, то по левую руку улица начиналась церковью, старейшиной которой была баба Зина. Осевший постный дом ее, пребывавший нелицемерной твердыней веры, с одной стороны был укреплен стенами Крепости Господней, с другой же – нагло попирался надмевающейся роскошью особняка мамы Фроси, и только виноградники их на задворках в изобильном и тайном перемирии сливались свободно и были суть одна плоть и одна кровь. По правую же руку, на самом берегу, так и стоял тот самый Первый Дом, обиталище матери всех трех сестер, позже перешедшее по наследству к Евдокии – моей бабушке. Дом величественный, дом благодатный, щедро делившийся благодатью своей с соседствовавшим домом дочери мамы Фроси – тети Иры, красивой несчастной женщины, всю жизнь свою тайно любившей иноверца. И воздух дома тети Иры был печален и темен, как последний вздох флакончика давно выплаканных духов. Ребенком мне нравилось бывать в нем, но оставаться там надолго я боялся. Когда ослепленные солнцем глаза привыкали к полутьме и дневное зрение уравнивалось с сумеречным, я начинал различать в полутьме их маленьких комнат высохшие цветы в вазах, стоящих на самых немислимых плоскостях сгрудившейся мебели, картонные коробки с пудрами, фарфоровые безделушки, таящиеся под сухими листьями пионов. Постепенно я начинал различать в тишине медленную речь ковровых узоров. Ковры были везде: на по-

лу, на стенах, на диванах и кроватях, никогда не принимавших на себе любящих и просто влюбленных. Они шептали об этой тоскливой пустоте, о леденящем страхе чужих пере­судов, о том, как велик дом для одного человека, – и лишь об этом, только об этом все твердили, и плакали, и жалова­лись взлеты и падения шепотков, их препинающиеся вздохи и обратный ход их, словно кто-то набирал полную грудь воз­духа, чтобы выдохнуть его вместе с пылью и горечью гнили и траченого мелкого куриного пера, их внезапные обрывы и тщетные попытки начать с нового места, столь же безнадеж­но траченного молью и временем, как и прежде. Все гром­че, все зазывнее. Провалы, паузы, длинноты, прихотливые отступления, сбои, повторы и витиеватость восточных лю­бовных даров. Постепенно речь звучала все настойчивее, все наглее и требовательней, и, когда из стен начинали выходить призраки тех, кто при жизни душил преступную страсть, ко­гда сумерки начинали *выть*, я, натыкаясь на углы, оскольза­ясь на плетеных дорожках, бежал прочь из проклятого ме­ста, прочь, к родным, к бабушке и отцу, домой, к солнцу. А дальше этого дома стояли дома Жуков, Фишеров, Агеевых, Донских, а что было за ними, того я не ведал. Я доходил до черты оседлости нашего рода и возвращался домой.

Да, дом этот был огромен. Мне, до пяти лет жившему в жаркой и тесной, как воспоминание о постыдном, коммунал­ке, а после – в двухкомнатной хрущевке трамвайного типа, он казался просто восточным дворцом. Без возраста, как и

положено таинственному артефакту, единожды сложенный из кирпича и выбеленный снаружи, никогда он более не знал ни обновления, ни мела. Крыша его, несшая на себе бремя лет, осела и прогнулась в середине, как седло, а зной и ночная влага кропотливо, миллиметр за миллиметром, выписывали на его стенах свою собственную печальную повесть, разрывая вязью хрупкую известковую оболочку, отдирая целыми пластами неудавшееся и принимаясь за желтовато-серый палимпсест. Монотонно, невнятно, почти неслышно говорили они о том, что все в мире изменяется, тратится, исчезает, и даже то, что было мертвым изначально, постепенно становится еще мертвее. Еще мертвее, чем час назад, чем день назад, чем год... Душное нутро чердака и периметр карниза были густо увешаны осиными гнездами. Грязно-серыми, в цвет прошедших лет – дед их периодически сбивал струей воды из шланга, и мы потом разбирали их хрупкие чешуйки себе для игр. Фундамент дома бесконечно крошился, как неправильная дробь, ежедневно осыпаясь мелкой горячей галькой: неисчислимым и неиссякаемым остатком после запятой, поставленной временем и отделившей свое от целого. Ставней по южной традиции домостроения на окнах не было, и позлащённые тайны внутренних покоев по вечерам берегли лишь буйно разросшиеся терновник и виноград. Их лозы и плети, отбившиеся от слишком близко поставленных к стенам шпалер, самонадеянно лезли вверх, но бессильно падали и снова, опираясь о стены, прядали, как безумные,

опираясь друг на друга и топча, ломались в окна, бесстыдно засматривали в чужую жизнь, заслоняя собой все и не позволяя изнутри комнат разглядеть ничего, что происходило вовне. Лишь изредка, когда гремел гром, резная завеса разрывалась порывами ветра надвое, и в просвете мелькало низкое свинцовое небо. Тогда гасили свет, по комнатам разносилось шепотом тревожное «гроза, гроза», выключался телевизор, бабушка крестилась, а мне мерещилось что-то непомерное, рогатое и жуткое. Тогда мы все забирались на диван – поближе к бабушке и ждали, когда, наконец, гряхнет самый громкий гром, когда, под восторженный троекратный вопль, хряснут, остановившись в метре от испуганных лиц, кинутые наотмашь капли и витым бичом собьют они осевшую на окнах пыль. И поминали цыган, и стекла в оконных рамах, как зубы в бескровных старческих деснах, шатались, и цедились на подоконник увертливые струйки. Дом гудел и завывал, как пузатая морская раковина, больно прижатая к уху, – я ложился прямо на пол и, повернув голову набок, слушал, как, изменяясь до неузнаваемости, взлетают под самый потолок голоса, как стучат где-то в самой переносице босые пятки Наташки и Юрчика, касаясь крашенных досок, и азартно хохочет дед: «Что, испугались, поросята шелудивые?!». Было слышно, как большие и твердые яблоки, сбиваемые ветром, падали *там*. Гулко и звонко – на жестяную крышу сарая, глухо – на толевый скат свинарника, хрустко – на гравий дорожек. Поодиночке, россыпью.

Переходя из комнаты в комнату, эти звуки можно было слышать то отчетливее, то глуше. В средостении дома они терялись, поглощаемые многолетней застойной тишиной. Мне не сразу пришло в голову сосчитать количество комнат дома и, когда я сделал это впервые, их оказалось по числу лет моих: семь. В обеденные часы, когда бабушка дремала в своей келье, где-то на самой периферии, а дед был на работе, я бродил в мерклом лабиринте коридоров, переходов, комнат, осторожно ступая ногами с катышками пыли между пальцев по крашеным доскам, плетеным дорожкам, истертым коврам. Огромные залы, большие комнаты и маленькие каморки, переходящие одна в другую, одна в другую, одна в другую, соединяющиеся несколькими переходами, оканчивающиеся тупиками, скрытые за занавесками, или таящиеся за навечно закрытыми внутренними дверями. Чтобы попасть в них, нужно было выйти на улицу и зайти с тыла, но делать этого не позволялось никому. И ключи от замков тех были потеряны навсегда.

«+7 999.....

*Кот, я думаю что после училище я приеду в Москву и мы будем жить вместе»*

Утроба дома была забита вещами. Варварски, непроходимо, словно добычей. Вещами, назначение которых мне было хорошо знакомо, и такими, о роли которых в жизни лю-

дей я мог только догадываться, новыми и не очень; старинными, старыми либо вовсе не имеющими возраста, но даже то новое, что случайно заносило сюда течением жизни, стремительно перенимало черты своего окружения, утрачивало память, обретало забвение, становясь в один ряд с безликими и идущими в вечность. Растрескавшиеся шкафы, облитые шеллаком, диваны со вспученными зелеными и синими животами и комоды цвета охры, английского красного, сепии, продавленные стулья, чьи тонкие ножки отливали басмой, и шаткие скрипучие столы масти «коричневый ван-дик», трюмо, высокие, как алтари, и даже купола абажуров – все было покрыто жирными, липкими пятнами варенья, пролитых супов, сока и свечного стеарина, и осевшая на них пыль шершавилась отвратными струпьями. За захватанными стеклами сервантов грудились в беспорядке безделушки, посуда, потускневшая мелочь, сломанные очки, ерошились пожелтевшие счета и квитанции, а днища ящиков секретера были высланы дотлевающими, остро пахнущими газетами, и бодрая скороговорка мельком выхваченного на них текста звучала, как глумливый смешок в церковном причете. На неподъемной ламповой «Радуге», с годами показывающей мир все более акварельно и пастельно, лоснился серебристый численник: химерическое изобретение поры совнархозов и укрупнений, напоминающее о быстротечности века сего беспечным и забывчивым. Если повернуть его вокруг своей горизонтальной оси, в квадратное окошко его,

откуда-то из хромированных недр, сверху, с сухим щелчком выпадал прямоугольник цвета слоновой кости, с цифрами. Число и день. Рраз, щелк – и сутки прошли. Канули. Внизу колесико: покрутишь – выползает название месяца. Точная настройка. Для особенно счастливых. И каждый вечер мы яростно, с криками и драками боролись за право начать новый день. И новый день начинался в девять часов вечера дня предыдущего, потому что потом нас по одному уводили мыться в ванную. Сначала мальчишки: по старшинству, потом Наташа. В «бане» – хотя никакая она не была баня, а просто огромная ванная комната размером с хрущевскую «однушку», с монументальным «Титаном» в дальнем углу подножием, утопающим в дровах и тазиках с углем, – было сыро и гулко, в углах жили нестрашные паучки, и мне и Юрчику позволялось мыться одному. Наташу же всегда мыли или бабушка, или тетя Галя – у нее были, видите ли, «волосы». В ожидании своей очереди мы смотрели новости и строили планы на завтра, читали, ходили на двор собирать паданцы, когда же мыться уводили сестру, во двор выходить не позволялось никому, ибо путь туда шел мимо больших, беззащитных окон ванной комнаты, и ненароком можно было увидеть то, что нам было видеть «еще рано», что могло смутить наши умы и привести в смятение души. Но умы наши уже смущались и души волновались, вопреки радению старших. И дважды мы укрывались под скатертью, свисающей со стола, в дальней комнате и в полумраке, пахнущем лавро-

вым листом и солоноватым потом, я подносил свой огонек на восковом стебельке поближе к смуглому гладкому животу Наташи, стремясь разглядеть внизу его узкую щель, в которую нежная кожа сворачивалась, устремлялась, втягивалась, словно в скрытую где-то там, в глубине воронку. И она. Смотрела внимательно, не решаясь коснуться горячего рукой.

Но чаще же я гостил у бабки один: Наташа была с родителями в Красноярске, а Юрчик, живший с матерью, в этом же доме... Слабый, плаксивый мальчик, с оспинкой в уголке левого глаза, от чего выражение его лица казалось вечно обиженным, укоряющим, он был мне неинтересен. Мало читал, много играл, но игры были все тихие, спокойные: машинки, вонючий пластилин, от жары расплзающийся под пальцами, как творог, лото, альчики. Он был безнадежно, непоправимо скучен, даром что я пытался разнообразить его жизнь обучением матерщинным словам и началам занимательной анатомии. Науку он старательно усваивал, но не давал взамен ничего. Ей-богу – клапан в какой-то потусторонний мир. С садистским спокойствием и педантичностью он резал собранные в огороде тугие помидоры на четыре части, солил, выстраивая в ряд по десять-пятнадцать штук, и методично поедал их. Аккуратно, не торопясь, ни единой эмоцией не отображая на лице, тогда как мы, набрасываясь на свою добычу, пожирали ее, не тратя времени даже на то, чтобы потянуться к солонке. Потом, осоловевшие, отрывивая,

смотрели, как молча и неспешно он довершает начатое одновременно с нами. Любил «кино про войну». Еще ласковый и хитрый Юрчик словно таил обиду на весь мир и стремился оставить его, в наказание, одного. Без себя. Просто уйти, тихо и незаметно, наказав своим отсутствием. С возрастом это удалось ему почти в совершенстве: он бросил свою разудалую мать, родственников и с женой – соблазненной им в семнадцать лет девочкой, уехал в Тулу, где зажил починкой автомобилей. Скрытно, буднично и, если бы не сверхъестественные, нечеловеческие способы распространения слухов между родственниками, то даже об этом я бы никогда не узнал.

«+7 999.....

*Ко мне дядя Саша приходил, поговорить нада было»*

«+7 888.....

*Четыре часа разговаривали?»*

«+7 999.....

*Да»*

Однажды во сне ангел коснется моего сердца, чтобы забыл я эту жизнь, – как касается он губ младенцев, чтобы забыли они, рождаясь, жизнь прежнюю. Но я уже не боюсь этого, мне только жаль, что некоторых вещей, которые произойдут позднее, я не увижу. И еще мне интересно: куда денется тот чудесный мир, который столько лет создавался во мне? На-

верное, исчезнет... По крайней мере, с лица земли. «Наверное» – говорю я потому, что мне трудно представить, что исчезнет без следа тот нежно-розовый цвет утренних снежных вершин, что я ношу в себе вот уже сорок лет – с тех пор, как впервые увидел его. Что станет с тем душным воздухом амбара, в котором золотом вспыхивали на солнце пылинки, где почему-то в двух огромных сундуках дед хранил зерно, и мы, сидя на сундуках верхом – Наташа боялась мышей, говорили о том, кто кем хочет стать, когда вырастет. Куда уйдем мы? Зараженный материализмом, я понимаю, что согласно третьему закону термодинамики никакой вид энергии не исчезает бесследно, лишь переходя из одного вида в другой. Через восемь миллиардов лет исчезнет наша Земля и погаснет Солнце... Но ведь бессмертие, это еще не все. И если та субстанция, что, предположим, называется «душой», перейдет потом в некий новый вид энергии и сольется – согласно утверждениям новых алхимиков – в единый океан любви и молчания, то что мне в том, если я утрачу свою индивидуальность, если мой голос уже никто не услышит, как не слышим мы голосов новобранцев, сливающихся в новые, чуждые привычной жизни массы? *Кем я хочу стать?* Или возьмется душа ангелами, как добыча, а семя, истекающее паче крови, – терпкое вино в аламбиках и малькитарах... И не страшно верить.

Я смотрел на пыль, кружащуюся в луче солнца, и думал о том, что я, вообще-то, совсем не хочу расти и кем-то ста-

новиться. Я доволен тем, что есть, я счастлив и не хочу покидать ни бабушкиного дома, ни сада. И пускай Наташка с Юрчиком все чаще предпочитают играть вдвоем, не принимая меня к себе, – я хочу качаться на самодельных качелях, вскидывая ноги в небо, и строить планы по исследованию чердака, когда дед, пьяный как всегда, будет спать в сарае; я хочу наконец-то доехать на велосипеде аж до Белинского, и вообще – добраться до самых снеговых вершин, купить такой же Вартбург, какой у Юрчика в коробке, поймать настоящего рака и снова посмотреть «Кортик» и «Бронзовую птицу». Что я хочу всегда возвращаться сюда – потому что мне ненавистен этот Кабырдак, его тоска и подсолнухи, и даже само название его, похожее на отрывку, над которым смеется всякий, слышащий его.

А еще, конечно же, я хотел быть умным и веселым, как отец. Обаятельным ловчилой, ловким пройдохой, как тот самый Жиль Блас или капитан Блад, книги про которых я недавно нашел в одном из шкафов и утрамбовал в себя – по два вечера на каждую, и которые, как пообещал он, мы заберем с собою домой. Мне до ужаса хотелось, чтобы у меня был такой же негромкий хрипловатый голос, как у отца, и чтобы я тоже умел так смешно и интересно рассказывать какие-нибудь истории, которых он знает огромное множество. Печальные, веселые, поучительные, простые и иногда столь удивительные, что они казались мне, с одной стороны, *полуправдой*, а с другой – чудом. Незримым, но где-то суще-

ствующим, как город Ниса, в котором он однажды побывал, привезя оттуда обозленную на весь свет мою мать и старинную монету, впоследствии исчезнувшую, канувшую в небытие так надежно, что я даже не запомнил ни вида ее, ни веса и запаха, а только удержал в голове, что она когда-то у нас *была*. Побывала и исчезла, словно вернулась в свое заочное существование в мертвом городе, замыкая эволюцию чуда: от небытия к несуществованию.

Рассказы отца были короткие, как анекдот, и длинные, как счастливая любовь, но время сделало так, что понятие продолжительности перестало к ним относиться, и теперь любая из них – стоит только ее вспомнить – вспыхивает в памяти, как пылинка, попавшая в луч света. Мне кажется, что уже давно я, рассказывая *свои* истории, говорю голосом своего отца. Я не крал его голос, он сам отдал мне его.

Пожалуй, наряду с жизнью – это лучшее, что он смог мне дать.

Отец до сих пор жив – за что я искренно благодарен богу – и я часто думаю о нем, когда вспоминаю о себе, когда ловлю себя на том, что *я живу*. И иногда мне даже удается разгадать истинные причины своих поступков и чувств, если я достаточно прилежно, не отрывая пальцев, провожу по тем бороздкам своей ворочающейся души, которые год за годом нарезал на ней его голос. Мне очень жаль, что я не знаю тех людей – кроме бабушки, чьи голоса живут в душе отца. Однажды закончится его завод, и я знаю, что буду в тот день

плакать. Снова, как тогда, очень давно. А пока мне периодически звонит мать и жалуется, что отец становится совсем неуправляем, что он плевать хотел на ее медицинские советы, а у него давление, а у него спина, а у него катаракта. А еще, кажется, он снова начал попивать в этом своем чертовом гараже, со своими дружками, которые наливают ему за компанию за хорошие байки, то есть почти даром, если считать даром такую жизнь. И я обещаю ей повлиять, позвонить, убедить, настоять...

«Хорошо, мам!» – бодро кричу я ей по телефону из Дархана, из Парижа, из Фуджейры, Праги, Каира. И думаю о том, что я все-таки стал что-то значить для нее, что я смог доказать свое право на существование, победил, но мне не становится от этого ни радостно, ни легко. Потому что я понимаю, что человек, добившийся победы, отрезает себе последние пути к любви. И мне уже никогда не пройти их вспять. Что все осталось при мне, а я – при своих. В конце концов, это я и полюбил. Снеговые вершины, прохладу осени, красные блики на черной воде, вспышки пыли в солнечном луче, садящийся, потрескивающий, как церковная свеча в полумраке, родной голос. И вот этого мне и жаль, если оно исчезнет бесследно. На что уповать мне, на бога? На закон сохранения энергии?

Может быть, это – одно и то же...

Ведь, в конце-то концов, если моя память до сих пор воспроизводит ту атмосферу, значит, что-то воздействует на па-

мять снова и снова, что-то то самое, что воздействовало на меня тогда, когда я на рассвете прислушивался к яростному шепоту за створками зеленых дверей, которым моя бабушка яростно ругала обоих своих сыновей, вернувшихся домой только что, и что я запомнил, как ощущение ликования и счастливого облегчения, *избавления* от страха непоправимой потери, начавшихся поздно вечером, когда они после ужина ушли, а меня положили с Наташей, и я всю ночь отодвигался от немых во сне ее отвратительных горячих ног, тяжелых рук, влажной маечки, от ее дыхания. Ставших такими на острие моего крошечного ужаса. Такого ужасного и оглушающего ужаса, оттенки которого я научился чувствовать тонким своим животом в совершенстве за последующие десять лет, сочиняя молитву Ему о том, чтобы с отцом ничего не случилось, нанизывая просьбы и обещания, как двухцветный стеклярус на страх, останавливаясь каждое утро и продолжая каждый вечер растить ее, пока молитва не стала такой длинной, что начинать ее мне приходилось почти сразу после обеда, а заканчивал я только уже за полночь, теряя слова в бездонной тьме; до тех пор, пока не оставил свой дом вовсе и не отпустил любовь к отцу – а она все-таки была, я думаю, – как неверного мужчину, или как птицу.

Ведь если мы можем простить любого человека – пускай не сразу, пускай, иногда принимая это за измену себе, значит, есть в каждом из нас та часть, что равна части другого, и все они равны человеческой части винотворца из Каны, и

тем не делают нас одинаково скучными, но – одинаково ценными со всем, что в нас зреет всю жизнь, для Него, и что ангелов заставляет веселиться и петь, когда к ним поднимаются наши души.

Хотя мне жаль, что я не могу отдать своему сыну все целиком...

«+7 999.....

*Завила почту для тибя кот. Большие ведь ни скем не аб-  
щаюсь. Вот зайди праверь».*

«+7 888....

*Я верю тебе. Заходить не буду»*

«+7 999.....

*Нет праверь. Если любиш то праверь»*

Но ту интонацию голоса – монотонного, поднимающегося, не сбиваясь, все выше и выше, туда, где холод и одиночество, но иногда словно осекающегося, замирающего на мгновение и снова продолжающего свой путь в королевстве, куда на зиму улетають ласточки, где живут одиннадцать братьев и единственная сестра их, Элиза – первая, кого я полюбил в своей жизни, и знал, что полюбил, я похороню в себе. Я уже похоронил его, и простил, и отпустил на все четыре стороны, и однажды – совсем скоро! – я возьму в руки эту книгу и перечитаю эту историю уже своим голосом, снова, для него и для себя – так, словно никогда еще не слышал ни о ней, ни

О той, к кому всю жизнь испытывал жгучую жалость, – ведь ей давала жизнь тоже *она!* Моя мать.

Как долго, как невозможно долго, даже когда все уже кончилось хорошо и последняя рубашка пошла в ход, любовь и жалость были для меня почти одно...

Как странно, что для меня оказались связаны понятия «любовь» и «мать». Хотя и не напрямую.

*«Я прижимался к ней, вдыхая кислую сыроватую сырость...»*

Сколько раз я подходил к ней, пытаюсь заговорить, встречал, надеясь снискать внимание, даже иногда словно невзначай касался ее руки, приближался... Все надеялся, что когда-нибудь, – а быть может вот сейчас! – я сяду напротив нее и смогу наконец объяснить, что я тоже человек, что у меня есть – правда есть! – свои желания, надежды, мечты. Что меня тоже нужно любить. Что у меня есть достоинство, которое не нужно унижать. Я думал, что все можно *объяснить*, нужно лишь найти правильные слова и, может быть, даже нужную интонацию, такую, как у отца, нужно лишь *сказать* ей об этом, вот прямо взять за руку, посадить перед собой и *сказать*. И она наконец-то все поймет и не будет больше так себя вести. В этом меня убеждали и поддерживали все: и Карамзин, и Диккенс, и Вальтер Скотт... И я долго-долго сочинял свое *обращение*, месяцами удерживая партитуру выступления в голове, а когда никого не было дома, даже согласуя мимику со смыслом перед зеркалом, но... Мать не видела меня и смотрела сквозь. Впрочем, иногда она все

же смотрела на меня. Смотрела... с каким-то отстраненным любопытством: дескать, ну что этому существу нужно? Что оно будет сейчас делать? Чего от него ждать?

Кажется, больше всего она хотела, чтобы я не мешал ей. Мать очень не любила незапланированных вещей.

Когда же она увидела меня впервые? Думаю, что когда мне исполнилось тридцать лет. Да, именно тогда. Весной, когда я развелся после десяти лет неуклюжей семейной жизни и сказал об этом родителям. Похоже, «маман» – как называл ее тогда отец – это заценила. Еще бы – сама она всегда только желала того же, но сделать не могла: моя шелкопрядающая бабка – ее мать – настойчиво и плаксиво убеждала не делать этого, ссылаясь на собственный пример. Я узнал об этом случайно, однажды утром прочитав оставленное на тумбочке письмо, и надолго увяз в тех словах, с трудом передвигая потом ноги в школу... домой...

Впрочем, тогда мне было уже глубоко плевать на ее признание. После того, как лихорадочное строительство мира в первые двенадцать лет моей жизни внезапно сменилось сонной апатией, упавшей мне на голову как летний зной, под которым, корчась, умерло все прежде посеянное. А затем, после окончания школы, в моей голове вдруг однажды заговорило радио, и я услышал музыку небывалой красоты, такую, которой я мог управлять сам, как полетом воздушного змея. И с тех пор я, надо сказать, сильно изменился. Я понял, что жизнь – это набор условностей, и моя жизнь – такой же набор

декораций, в которых мы блуждаем по воле обстоятельств, как и у всех в этом мире. И ничто от меня не зависит – я игрушка в чьих-то руках. Если что-то происходит, значит, так кому-то нужно, и глупо сетовать на то, что иногда происходит совсем не то, что хотелось бы. Все что остается, это пытаться плыть по течению так, чтобы тебя не шваркнуло о берег. И все эмоции – радость, страх, надежда, уныние – по сути, одно: возмущения души, с разным знаком. Имея желание и сноровку, можно очиститься от этих лишних подробностей, от этих знаков, и тогда, свободный, ты будешь лишь бесстрастно наблюдать, как рождаются и гаснут всплески сияющей энергии. Тогда-то я *понял* любимую поговорку отца: «Кому суждено быть повешенным, тот не утонет». Понял я и его фатализм: ведь это оно и есть, невозмутимое следование открывшимся путем. Единственный раз, когда я после этого подумал о реакции своих родителей с волнением, это когда моя дражайшая сестрица пригрозила, что если узнает, что мы с племянницей снова вместе, то она расскажет обо всем всем нашим. Хотя и тогда я испугался не за себя, а за отца: мне стало жаль его, его последнего покоя и той картины благостного мира, что, как папиросная бумага, стала настолько прозрачной, что через нее понемногу уже проникал нездешний свет.

Я, кстати, потом долго думал об этом. Вообще, обо всей этой истории, что приключилась со мной, и о совпадениях, что играли в ней какую-то необходимую, а значит, совершен-

но не случайную роль. Со своей первой женой я развелся первого апреля. (Помню, ерничал еще тогда: «Моя лучшая шутка!») Ею, как оказалась, была внучка того самого хулигана, которого завалил мой пылкий дед из именного оружия во Фрунзенском парке. Об этом мы с ней узнали случайно, на каком-то семейном сборище, почти перед самым разводом. И именно благодаря мне она оказалась – в широком смысле – в доме убийцы своего деда. В том самом, в котором единственное наше окно было распахнуто в сад. Такой же самый, в котором я когда-то осознал себя как существо.

## II

### Дипсалма

Родились мы с нею день в день и год в год. А жалить и мучить друг друга дано нам было ровно десять лет в браке, не оживленном ни каплей любви, но прочном, как печать. Едва увидев ее, приехавшую учиться в наш город из Казахстана, я услышал, как сказал своим друзьям, бывшим свидетелями знакомства, что женюсь на ней. И женился. И если они подумали тогда, что я – хозяин своего слова, а я, вращаясь в дурмане, вообще ничего не подумал, но через неделю сделал ей предложение и получил согласие, которым обычно бывают довольны лишь цыганки, то потом-то я уж понял, кто тут был истинным *хозяином*.

А через десять лет своей второй семейной жизни, которую

я уже сам чуть не убил той смертью, что называют «смерть за смерть», тоже, первого апреля, королевой шутки стала моя сестра Татьяна, давшая нам с племянницей приют и индугенцию на недельную любовь в своем доме. Всем нам, вечеровавшим тогда за круглым кухонным столом, он вдруг сообщила, что пригласила на сегодня и моего отца, и ее. Даже Дана, которую, вообще-то, звать Дианой, поверила и недоуменно посмотрела на мать. А племянница подпрыгнула на месте и, кажется, захотела сей же час рассеяться в воздухе. Я же пожал плечами и, признаюсь, вымученно, ибо не знал – зачем это? – улыбнулся, но искренне сказал: «Ну что ж, прекрасно. Вот и познакомятся. Надо же когда-то начинать». И мне стало пронзительно жаль отца. Всю жизнь он бежал от несчастий, боролся с ними, а когда ни бежать, ни бороться было нельзя – терпел их. С юмором осужденного, он все повторял эту свою шутку: «Кому суждено быть повешенным, тот не утонет». Ах, зачем он кликал фатум...

Но несчастья несчастьям рознь, и если с мистической стороной судьбы есть возможность договориться, признав ее невидимую силу, то было ведь и еще другое несчастье, не менее удивительное, но рукотворное, то, которое он создал для себя сам. Я говорю о его благоверной, то есть о своей матери. И длилось это несчастье всю жизнь. Воистину, судьба не бывает столько упорной в своей нелюбви к человеку, как человек сам к себе. Долгое время меня поражала та необъяснимая, просто иррациональная ненависть, которую мать пи-

тала к отцу. К человеку, который дал ей, в общем-то, все: новую жизнь – забрав из деревни, от лихо пившего отца и по случаю ежедневного праздника смертным боем бывшего и державшего тем, в прямом смысле, в хлеву домочадцев; новый дом, на который он заработал своим беспробудным трудом на заводе; новые вещи, новых друзей и новые интересы. Впрочем, оставшееся не востребованными. Я до сих пор слышу ее злобное шипение: «Ссссын миниссстра...» в ответ на просьбу переменить рубашку или подать вилку. И вижу ее багровеющее сморщенное личико. Я слышал это почти половину жизни, и обида за отца, и гнев, и необъяснимость судьбы и тайны, с нею связанной, лишали меня веса и отрывали от земли, как чужое имя лишает человека его отражения в зеркале, и я держался двумя руками за стол, гоняя во рту вместо слюны уксус.

Отец же терпеливо улыбался.

Выросший с отчимом, он, по мере сил, старался сделать так, чтобы я был счастлив даже тогда, когда я вырос, и мое счастье могло зависеть уже только от меня самого, он жил так, словно счастье сына, это одежда, за которой нужно следить, чтобы она не изнашивалась и всегда была ему впору.

«+7 999.....»

*У миня никого кроме тибя нет. Я хачу паскарей к тибе»*

Мать же покупала мне повседневные тряпки или модную

одежду не задумываясь, нужно ли мне это, отправляла на все лето в деревню, не спрашивая, каково мне там, и покупала билеты на какие-то представления в ТЮЗ, даже не интересуясь после: что там было? А однажды – тогда до моих одиннадцати оставалось три месяца – на пустынной улице, ведущей от рощи к дому, у которого мы играли в «кашевары», я, случайно обернувшись, увидел в желтеющей перспективе ее, скособочившуюся влево, от влекомой в правой огромной коробки, спину. Она купила аквариум. Для того чтобы я, злостно избегающий людей, учился искусству общения на братьях наших меньших. Так сказать, «начинал с малого». И вот на трехногой подставке, словно магический хрустальный шар, утвердилась на моем столе стеклянная круглая банка для рыб, купленных вскорости (меченосцы, гуппи, неонки, скалярии, барбусы), коих я много лет потом должен был ублажать ежедневно кормами (мерзкие розовые рогатые черви из морозилки и сухой золотистый прах, пахнущий, как простыня, напитанная поллюциями), и менять коим воду еженедельно, и стояла незыблемо, пока однажды, уже перед самым призывом, вдруг, среди ночи, не исторгла из своего бока абсолютно круглый, размером с суповую тарелку, кусок позеленевшей плоти, и прыгающие в разлившейся воде мелкие немые не издохли в руках не сразу проснувшихся брата и родителей. Я же, подскочивший резво, не предпринял ничего: сидел на диване и смотрел на свои ноги, на эту водную феерию, гадая, достанет ли вода до меня или нет.

Нет, не достала.

И до души ее не достучался. Никогда.

Спустя три десятка лет, уже сам имеющий семью и детей, я понял, что странствия мои в поисках души ее и двери к ней были напрасными: не было ничего. Ни двери, ни души. И сейчас, видясь с нею один-два раза в году, я понимаю, что ее вполне устраивает плавное скольжение по поверхности обыденных дел, и глубины эти дела не имут: деньги, вещи, простые действия. И вопросы ее пусты, и глаза, как прежде, смотрят на вещи.

– Дать пять тысяч? – Без проблем. – Пятьдесят? – Да пожалуйста. – Взять это или то? – Да забирай хоть все.

Но и только. И только время течет, и она стареет, и только тшета струится в чайных глазах ее, да с годами множится в зрачках рой чайнок, словно это птицы в осеннем небе: все больше их, становящихся на крыло.

А она выплатила этой жизни ясак суетным трудом своим и отдалилась вовсе, не дав никому – ни мужу, ни детям – ни единой искры бескорыстного тепла. Словно, став женой, подобрала паронимическую рифму к смыслу своей жизни, да рифма оказалась фальшивой, и она это почувствовала. Невысокая, худенькая, болезненно-самолюбивая. Детские стихи про жука ей удавались лучше... Только еж да собака ненадолго внесли в мой детский мир живую радость, но ежа зарезал пьяный отец в воскресном лесу, а щенка, повзрослевшего и за то сосланного в Кабырдак, по оплошности

насмерть придавил стогом сена дед.

И еще однажды летом через раскрытое окно в зале к нам залетела черная птица и сразу забилась под диван. И сидела там, пока я, переполошенный, носился по дому, прикидывая, чем бы ее оттуда достать. Не найдя ничего, я сунулся под диван по грудь и схватил ее голыми руками. Она позволила себя вытащить, и я помню удивительную тяжесть ее тела и пульсирующее тепло в руке. «Словно сердце» – подумал я тогда.

Еще я помню, что на том заднем дворе, куда волокушей затащили стог, была большая, мне почти до колена, глыба темно-серой каменной соли, и теленок с коровой лизали ее. Соль пахла живой плотью приглушенно и как-то прерывисто, и нужно было сосредоточиться, чтобы уловить ее запах: словно как голос в толпе. Гораздо сильнее пахла грязь под ногами: терпкая смесь навоза и соломы, сверху кропимая кислым дымом: в бане вечно топилась печь.

«+7 888.....

*А тебе нравятся картины Саврасова?»*

«+7 999.....

*Саратова? Да, красивые»*

Дом ее родителей стоял на самом краю деревни, и по вечерам, когда солнце цеплялось за рогатки телеграфных столбов и оттого долго не уходило за край земли, я выходил в

галошах на босу ногу на задний двор и подолгу стоял там, слушая и смотря, чувствуя, как от земли поднимается холод и забирается под футболку и штанины. Понимая, что я здесь потому, что я надоел матери, и она от меня хотя бы на время, но избавилась.

Удобнее всего было подойти к самой городьбе и опереться на нее руками, вынув одну ногу из тепла и ступив ею на березовую жердь. От этого соприкосновения кожа на подошве и пальцах становилась шершавой, как сама береста, и потом, уже лежа в постели, двигая ногой, можно было почувствовать, как цепляется и льнет к ней ситцевая простыня. Как струна к наканифоленному смычку.

Женщина, никогда не позволявшая обнять себя, моя мать, была зачата офицером артиллерии, никогда не снимавшим сапог, и родилась под знаком Рыб в Ашхабаде, у худой терпеливой женщиной, быстро работавшей и скоро евшей. Настолько быстро, что когда другие только разламывали хлеб, она уже вставала из-за стола, и на заказ расшивала скатерть цветами (поскольку была вышивальщицей) прежде, чем новоселы покупали стол. Имен у этих людей не было, не было и лиц: только глаза. У бабки – зеленые (после ее смерти этот цвет унаследовал я, а до того глаза мои были прозрачны), берегущие тревогу, как единственный полученный от жизни дар, а у деда – цвета пустого, как неродившееся небо. Дар этот, вместе с цветом, я принял от покойной тоже: постепенно и незаметно, будто спился.

О судьбе этой семьи, о странствиях ее по стране мне не известно почти ничего. Знаю лишь, что дед вышел в отставку в звании майора, и осели они, как южная пыль, близ дороги, соединяющей русскую деревню Солдатка с татарской деревней Кабырдак, почти на самом выгоне, там, где табуны черноглазых лошадей пасутся сами, а окаменевшая грязь хранит полумесяцы их копыт, как тавро.

После двенадцати лет я провел там все летние дни оставшегося детства и ненавидел эту деревню так же истово, как и свою мать.

И вот теперь она устала ругаться, злость выкипела, и на дне ее жизни осталась только сухая слезная соль. Мой брат вышел замуж и зажил отдельно, а квартира стала принадлежать родителям безраздельно, и они наконец окончательно разбрелись по углам, войдя каждый в свое одиночество, которое начали репетировать по ночам еще давным-давно, когда-то сорок лет назад. Таким образом, к старости они стали жить если не в согласии, то хотя бы в покое.

А я прекрасно помню эти шумные репетиции, от которых я просыпался в два, в три часа ночи и лежал, покрываясь холодным потом, пустой внутри, как моя любимая кукла Катя, ожидая, что сейчас меня поднимут и призовут *судить*: кого я больше люблю? И идти к тому, чтобы остаться с тем навсегда. И навсегда потерять другого. Без отца я не мог помыслить своей жизни, а внимание матери безуспешно пытался снискать, хотя старался изо всех сил. Я так никого ни-

когда и не выбрал. Я начинал плакать, и дело кончалось тем, что мать, вырвав из постели свою подушку, убежала спать ко мне в зал. Поскольку гнев не терпит промедления, она ложилась на диван прямо так, не разбирая его. «Валетом». Мне было страшно ее порывистых движений и радостно, что *она выбрала меня*. Когда ослепительно щелкал выключатель и все падало во тьму, я долго не мог уснуть, чувствуя, как мое сердце колотится где-то аж в голове. От волнения и гнетущего чувства какой-то страшной тайны, вершащейся рядом. От страха. От жалости к себе. От возбуждения.

Я лежал, водя пальцем по невидимому узору обивки, размышляя о том, когда же все это кончится, о том, как хорошо бы было, если бы родители жили мирно, – у меня был пример моего дружка: *они даже ходили вместе в кино* – и о том, думает ли сейчас моя мать обо мне, лежащем у нее в ногах. Потом я уставал лежать на боку, где сердце, и осторожно переворачивался на другой, и снова размышлял, повторяя в сотый раз свои собственные мысли, поправляя их так, чтобы они казались четче, различая во тьме, становившейся уже пепельной, силуэты ее щиколоток, ступней, их чуть кисловатый, пряный запах. Радуюсь тому, что я наконец-то обладаю ею и охраняю, как верный рыцарь.

Тайнопись.

Искусству тайнописи меня научил мой отец, когда в очередной раз принялся вылепливать из слов то, что хранилось в его сердце. В этот раз он нырнул глубоко и добрался до

лета одна тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года, года, когда узнал из книг об удивительном свойстве лукового сока. И, проглаживая в этот же вечер горячим утюгом тетрадный листок, отсвечивающий перламутровой неразберихой, я смотрел, как возникает под его подошвой горячая вязь цвета охры, и, обгоняя чудо, дополнял по памяти то, что еще не проявилось. Как странно было это видеть: появление уже существующих, но не видимых еще слов. И вот, прочитанный, листок остывал на столе.

А потом пришла с работы мать и, как всегда, устроила тарарам, почитая его за воспитательный процесс. Еще бы: на полу валялись коричневые чешуйки шелухи, луковый жмых смердел на всю кухню, накрытый в ведре куском марли, отхваченным кое-как ножницами от большого полотна, купленного для глажки брюк и юбок, уроки были не сделаны, а на обеденном столе пощелкивал перегоревший и уже остывающий утюг. Но криков ее я привычно не слышал, воображая, как бы применить свое новое открытие, и переживая вновь их явление: словно назревая, словно проступая из небытия, написанные – ну как будто бы – неизвестно кем, как будто бы есть кто-то невидимый, кто пишет послания только для меня... Словно стали наконец-то видимы те слова, которые я слышал в тишине каждой комнаты. И этот восторг двойного проявления – сначала в уме, а потом на бумаге, я помню сейчас так же ярко, как тогда.

– А когда ты стал лучше понимать свою «маман», ваши

отношения улучшились?

– Странный вопрос... Нет, лучше они не стали. Я остался для нее все таким же невидимым... К тому же подрастал мой брат. И чем старше он становился, тем больше он становился в ее глазах непрозрачной пеленой. Он, моя тень, все рос и рос, пока не закрыл меня полностью...

– Ты ревновал?

– Нет, что ты! Только вздохнул с облегчением – она переключилась на него и оставила наконец меня почти в полном покое. Если бы он был человеком, то занимал бы гораздо меньше места в пространстве, и тогда, помимо него, мать видела и что-то еще, но он не был человеком... А потом, когда ему исполнилось тридцать, он внезапно сдулся. Схлопнулся, как газовая туманность, превратился в черную дыру и оставил ее ни с чем. С тех пор он ходит где-то, невидимый, периодически возмущая их небольшой семейный космос.

– А ты?

– А я... а я, уйдя из кантского сада, отправился, через Кабырдак, в себя и через двадцать с лишним лет на максимальном удалении от всего человеческого встретил Бэтси.

«+7 999.....

*Что ты мне маим прошлым тычиши! Было и было понял?»*

Сегодня – третье августа две тысячи десятого года. Два года назад, почти день в день – первого августа две тысячи

восьмого – началась эпоха Полного Солнечного Затмения. Период полураспада, время агонии. Она изменяла мне. Металась. Рвала отношения и просила дать ей еще один шанс. Снова и снова. И каждый раз – последний раз. И оба понимали: это все. Время упущено. Теперь... Теперь горят торфяники и все в дыму, всюду запах горячей помойки. Багровое солнце, как рдеющий флаг, видится сквозь пелену.

Теперь полно времени, чтобы подумать. Чтобы вспомнить и сопоставить. Но чем больше я думаю, тем меньше понимаю: что это было? Кто она? Она действительно такая непроходимая дура или целеустремленная стерва? С кем она была в доле? С Татьяной? Со своим «любимым красавчиком» (мерзость какая; похоже, все-таки дура), о наличии которого я, как водится, узнал последним и совершенно случайно. Или, с детства малость тронувшись умом, была «божий человек», доля которого – забота ангелов, а дело человека – простить ее не взыща? Много позже, когда я рассказал об этом своему врачу, я услышал от него определение, показавшееся мне забавным: она – дырявая бочка. Как никогда не наполнишь дырявую бочку, так и она никогда не будет сыта любовью. И, услышав это, я рассмеялся. И ветка клена, стучавшаяся о ржавую решетку в раскрытом окне, рассмеялась изумрудно на осеннем солнце. Я вспомнил о Данаидах и расхохотался еще сильнее и громче.

Господи, ведь даже тогда уже, даже тогда!.. Помнишь этот разговор? Ей кто-то позвонил, и она, молча выслушав, отве-

тила:

– Я? Гуляю со своим молодым человеком.

Я спросил ее потом, снисходительно, как первоклассницу о ее «жутких» тайнах:

– Кто это был?

– Это?.. Это... Миша.

– А кто такой Миша?

– Да знакомый. Мы с ним у подруги познакомились. Так, ничего особенного. Теперь вот названивает...

И выключила телефон. Потом я обратил внимание – она всегда выключала на мобильнике звук. Была все время напряжена и никогда не делала двух вещей, сколько я ни пытался ее увлечь: не строила планов о нашем будущем и не интересовалась моим прошлым. Но если с обсуждением будущего я просто решил повременить, решив, что если эти планы просто осуществлять, даже по чуть-чуть, то это будет уже хорошо, а что-то грандиозное мы все равно пока сделать не можем, – так что пусть текут себе мелкой струйкой небольшие насущные дела, то, попытавшись несколько раз рассказать ей о себе и не заметив с ее стороны ни малейшего интереса, ни малейшего сочувствия, я почувствовал себя как сумасшедший, который на первом же свидании в парке пытается снять с себя штаны.

Я не мог понять ее поступков: писать, звонить в три часа ночи – что это? Это любовь, о которой она постоянно твердила мне, даже не утруждая себя посмотреть: который сей-

час час?

Среди ночи я просыпался от того, что рядом, на уровне глаз, экран телефона вдруг начинал сиять небесно-голубым светом, и сквозь него слепые глаза ловили проступающие строчки: «Забери меня отсюда, я уже не могу без тебя». И, выхватив стилус, я тыкал, тыкал в буквы, словно давил тараканов, стискивая челюсти и чувствуя, как вздрагивает диафрагма: «Скоро уже. Еще чуть-чуть».

Или это равнодушие, или мелкая бабская месть, или неумение строить отношения? Когда день, два, три она не выходила на связь и не отвечала мне. Впрочем, начиналось все с часов. Тогда, когда мы считали каждую минуту...

О себе она рассказывала мало. Если время жизни человека уподобить морю, растворившему в себе соль его пота и слез, как все другие моря, то островами в нем будут события такие, появление которых предчувствуешь задолго до наступления, и помнишь даже тогда, когда они давно скрылись из виду. О них, конечно, любой путник расскажет в первую очередь, даже когда не стремится произвести впечатление: просто о чем-то отдельном рассказать легче, чем о бесконечной и ровной глади дней, похожих в пути один на другой. Но если понимаешь толк в пространстве и времени, то в первую очередь обращаешь внимание именно на эту протяженность, без четких очертаний, без границ. Начинающуюся задолго до слов, где-то сразу за плачем и любящими руками. Потому что это и есть ткань жизни. Ткань, которую

потом, начав с подражания, творим мы сами из ускользящих между пальцев мгновений. У кого-то от горизонта до горизонта ткань получается безликой и унылой, украшенной лишь событиями, в свершении которых участие Улисса минимально, у кого-то – играет глубинными красками. Сняв на ее берегу с себя все одежды, я ступил однажды в ее прошлое: «Жалеешь, что тогда все так получилось?». И словно с размаху уперся в разбухшую осклизлую дверь: «Да нет. Ну, было и было».

Ступил в ее прошлое, как в мутную, затхлую воду.

– Что волнует, что вздымает и опускает грудь, дышащую во сне? Что управляет приливами и отливами её любви и гнева? Вообще, в нас, что гонит волны к берегу и прочь от него и посылает ветер то в грудь, то в спину, то окрыляя, то бросая нас на землю, как птицу? Кто, незримый, восходя в зенит и спускаясь к надиру, увлекает ток жизни за собою, как жениха, и отвергает его со смехом? Зажигает с вечера свет и ждет до зари, не отводя сердца от дверей? Молится на Луну и, зная запретное имя, поднимается в воздух и уносится прочь, кто?

– Знать того не дано, спи. Догонят, но не вернут. Не дело живущих светом знать тайные циклы, скрытые движения, незримые притяжения. Сила гравитации поднимает за волосы из постелей живущих по ночам, а Господь – не знает пятниц и суббот. Закрой свои глаза – чувствуешь? Все время кто-то рядом: тень моя, между мною и матерью; он, искусив-

ший и увлекший потом играть в другую комнату – вот, звенит их смех!.. Кто-то еще? Кто-то еще... Кто управляет приливами и отливами гнева, любви...

Чувствую, как кровь во мне поднимается к голове и стекает в икры.

«+7 999.....

*Я на виласипеде каталась. Знакомава встретила, он катался»*

«+7 888.....

*Он катался в два часа ночи?»*

«+7 999.....

*Да. А позже ты уже спал»*

Трогательная забота. Как мерзко. Как мерзко спрашивать, как мерзко узнавать!

Первая ночь, когда я понял, что она изменяет мне, – я запомнил ее наизусть, как длинную, отчаянную и прекрасную поэму. Утром, не спавший, обалделый, я чуть свет вышел из дому и пошел. Бесцельно, по дорожкам, в парк. Телефон все так же молчал. По пути мне все попадались битые бутылки, использованные презервативы, сигаретные пачки. Господи, сколько тут этих презервативов! Такое впечатление, что ночью половина города выходит в парк, чтобы совокупиться в ближайших кустах. Задумавшись, я шел все быстрее, разгонялся и вот – полетел. Я летел, размахивая руками, обле-

тал мусорные кучи, и в голове пульсировала, стучала молотом мысль: «изменила, изменила, изменила!». Я остановилась, чтобы перевести дух и утишить этот вопль в голове, и в наступившей тишине вдруг отчетливо и спокойно подумал: «А ведь она действительно этой ночью спала с кем-то...». Холодно, как прозектер, я представил себе ее острые колени, пот, хлюпанье. Возня, трусы на полу. Зачем-то в усмешке скривил губы...

А может быть, нет? Может, правда, как идиотка, визжа от радости, она крутила педали, а потом, пошатываясь, ноги нараскоряку, пошла спать? И дрыхнет сейчас, и будет дрыхнуть до четырех? Она теперь просыпается поздно... Я помню ее дыхание во сне: смрадное, тяжелое, как у старухи. Как мало мы с ней разговаривали... А о чем? Как мучительно было писать ей поначалу: будто примеряешься загукать с младенцем. Бэтси, увидев ее фотографию, сказала мне без ревности, без злобы, но с каким-то содрогающимся разочарованием: «Да это же быдло... Обыкновенное быдло». Может, она, правда, выросла там в своем алкосовхозе, ни черта не знает, не ведает, ведет себя, как звезда из «Дома-2», и думает, что истерики и обиды, это она и есть – «любофф». Помнится, даже дорогая моя сестрица, глядя на нее, пребывала в перманентном шоке. Вот бы перебороть судьбу, сделать ее человеком, объяснить, научить, втолковать... Тому, что в душе ее написано тайным пером, дать разумные знаки, чтобы проявилось это языком человеческим, удивительным и про-

СТЫМ.

«+7 999.....»

*А на миня в детстве дерево упала. Груша. Чуть ни убила»*

Наконец-то выбравшись погулять, уже совсем-совсем поздно вечером, мы шли по Прибрежке и еще издали слышали, а затем и разглядели в темноте странную пару: отец и сын лет десяти, разделенные бесконечностью длиной примерно в двадцать метров. Отец с надрывом кричал ему: «Подойди сюда! Я кому говорю! Почему ты сюда не хочешь подойти?! Почему?!». Мальчик молчал. И отец кричал снова. Безответно, ибо чем можно ответить на крик? Только эхом. Наверное, мальчик был не эхом, а камнем.

Фонари горели редко, и Обь была черна. Она шелестела слева так, словно по земле волокли огромный брезент, и я невольно умолк, прислушиваясь. Возле церковной ограды мы свернули и пошли вдоль. «А вот здесь мы жили» – показала она на длиннющую, безликую девятиэтажку справа. Маленькая плитка, вдавленная в ее бетон, фальшиво блестела в желтых лучах. «У нас была трехкомнатная, и у меня – своя комната!» И в голосе ее гордость была свежа, словно не десять лет назад это пошло прахом и не прошло вообще. Кажется, тогда я уже не в первый раз подумал, что, в сущности, она – ребенок. Все тот же шестилетний ребенок, которого изнасиловал случайный «друг семьи», пока счастливые

родители на кухне пускали пузыри в тазиках с оливье.

Позже я узнал, что я был не первый, кому она рассказала об этом «по большому секрету». И когда при случае поинтересовался у Татьяны – знает ли она что-нибудь об этом, та равнодушно ответила: «А, да... Но, правда, так толком и неизвестно, то ли изнасиловал, то ли попытался... Но после этого Люба уже и развелась, и пыталась завязать, а примерно через год они вообще вернулись в Николаевку». Я помолчал, вспоминая, как темно было в моей голове, когда я прочитал *ту ее* смс-ку. Вообще, меня просто поражала эта ее особенность: молчать, когда мы вместе, а потом телеграфировать короткими откровениями. Мы ведь почти и не разговаривали с ней. Да и о чем?.. Лишь один раз она изменила своей привычке. В тот раз, который чуть не стал последним. А, честно сказать, и лучше бы стал им, но кто же знал, как все повернется и сложится. Уж точно – совершенно не так, как я себе воображал. Вот и тогда: я оделся и вышел из своей комнаты совсем рано, когда на улице была глухая темень, а голова кружилась то ли от полубессонной ночи ожидания, то ли от качающихся на улице фонарей. С улыбкой, презрительной к себе, я торопился на первый автобус, идущий до ВДНХ. Уже завязывая у порога шнурки, я оглянулся и увидел, что племянница тоже встала и сидит за столом, в кухне, молча наблюдая за мной. Мне совсем не хотелось ни говорить с ней, ни даже здороваться. Так что я только поблагодарил бога за ее молчание и начал перед выходом проверять карманы: не

забил ли чего? Довольно нервно, признаюсь. Сочиняя в голове инвективы и филиппики, но стараясь внешне оставаться невозмутимым. И только взявшись за ручку двери, я повернулся к ней и коротко попросил: «Закрой за мной, пожалуйста». Краткостью выдавая обиду: ведь договаривались! Стараясь удержать рвущуюся злость у самого истока речи. Она же, сидевшая до этой минуты в каком-то равнодушном оцепенении, вдруг подскочила, бросилась к сапогам, к пальто – прямо так, на футболку! – и вынула, как первоклассница, из рукава эту свою дурацкую шапку с хвостами. И вышла со мной, просто притворив дверь. Я ничего не сказал. Мы шли, я молчал, стараясь не потерять равновесия и не расплескать молчания – но фонари качались! – равновесие было потеряно, и я не выдержал:

– Ну что, наигралась?

Она прошла еще два-три шага молча, потом заступила мне дорогу, остановилась, заглянула в лицо и сказала: «Я люблю тебя». И прижалась, обняв. Я поцеловал ее и тоже обнял. И почувствовал, какое грузное и тяжелое у нее тело, как холодно пахнет пальто присутственными местами, какие узкие у нее губы. И подумал, что ее зеленые выпуклые глаза похожи на ципреи. Или на глаза римских статуй, с которых время стерло зрачки.

А потом я ехал в автобусе, привалившись плечом к окну, чувствуя, как намокает от испарины стекла рукав куртки и подбрасывает меня на ухабах, а голова бьется о какую-то же-

лезяку, но я не удерживал головы, и даже приятны были мне эти болезненные толчки, это чередование теплого и холодного, и это медленное течение времени то в обратную сторону – от утра к вечеру, через ночь, полную мучительного ожидания, то, броском, – вперед, к отчаянию утра, и снова назад – к елке, бумажному ангелу, крутящемуся, как флюгер, в поисках того направления, откуда грядет Благая Весть. И над всем этим ее «Люблю» стояло, как ранний рассвет.

Я ждал ее всю ночь, а эту ночь – с конца лета, каждый день представляя встречу и каждый день радуясь, словно встреча уже случилась. Так много хотелось ей сказать и так много услышать... Но все, конечно, случилось совсем не так и, конечно, гораздо лучше. И я был счастлив. «Пусть намок, пусть бьет, пусть то холодным, то горячим...»

Времени же от нашего знакомства до рассвета прошло полгода, с августа по январь. Это была та половина года, в течение которой я пытался отречься от своей любви и семьи, сея ненависть на камнях. Часто лили дожди, вода была ледяной, и ничего не росло. Я подолгу бродил по разбитому асфальту, по лужам, вздрагивающим, как сердце, и с отчаянием смотрел на бесплодные перспективы. Подолгу отвечал на ее нелепые смс, выискивая нужные буквы на мокром экране и накалывая их на заостренную палочку. А дома, содрогаясь, прятал телефон подальше. Только потом, спустя годы, когда отстоялась вода и я смог увидеть дно, я понял, насколько эта вода была мертва. И словно тогда, в детстве, наши ру-

ки, скрытые в черной воде, встречались друг с другом сейчас и цеплялись холодными покрасневшими пальцами; словно шла она за мной по пятам из детства, таясь, принимая образы то Наташи, так желавшей узнать что-то запретное, то бабушки, иногда проваливавшейся в свою юность прямо на чердачной лестнице, как *тогда*, когда в семнадцать не выдержала перекладина, она сорвалась и ступила правой ногой на стекло, и стекло осталось там, под кожей – в подтверждение она предлагала мне потрогать свою ступню, и там, в глубине мышц и сухожилий, действительно пошевеливался какой-то треугольный желвак размером с копейку, то Любы, в последнюю грозовую ночь нашего бдения в сторожке, когда отсветы молний сверкали где-то далеко-далеко, будто в будущем, прижимавшей меня, ревушего, к тугому животу под распахнувшейся фуфайкой и истово обещавшей мне, что мы когда-нибудь еще встретимся, обязательно встретимся...

Что это было, одержимость? Сумасшествие? Кризис среднего возраста, тоска по чему-то свежему, сильному? Азарт? Может быть, и азарт. Потом, когда я... увидел. Все-таки семнадцать. Ну а в начале? Ведь это же гомункулус в чистом виде, пособничество «животворящей силы»! Или вправду «известная человеческая жидкость» семь суток гнила в тыкве, а после – питалась кровью? И вымахала. Она часто любила вспоминать, как я первый раз ее увидел спящей, как разбудил громким шепотом: «Дай ключи!».

Чем это ее так зацепило? Я тоже помню этот момент,

но... ничего в нем романтического не было: здоровая девка в трусах и задравшейся футболке дрыхнет на спине, выставив пятки в проход... Тогда что? Может быть, жалость? Накануне, на дне рождения Татьяны она рассказывала, как в двенадцать лет сбежала из Николаевки, жила у бабы Зины в Канте, потом подалась к отцу, но скоро сбежала и оттуда, из-за мачехи... Что-то многовато крупных побегов для такого возраста и за короткий, в общем-то, срок. А может, задела во мне что-то животное, когда после, уже прилично закусив, жаловалась на то, как обделила природа ее парня? («Теперь уже бывшего», – уточнила она.) Нет, мимо все, не то, не то... Если бы это все было так просто, так поверхностно, то не случилось бы со мной того, что случилось, не потянуло и не вывело на свет божий из тайной глубины всей моей мерзости, не открыло бы написанного в душе тайно. Вот, коснулась она – и стало явно все. Кто она, Господи? Кто научил ее открывать predetermined?

Ее ногти были обкусаны коротко и неровно, как у первокурсницы. А бахрома вокруг вызвала бы, пожалуй, у Петра Первого преждевременное извержение «Зеркала». Я в шутку посоветовал ей оставить руки в покое, а потом сделать маникюр, на что вдруг последовала преувеличенная реакция испуга: «Мне нельзя длинные, я повар!». И она отдернула руку, спрятав толстые пальцы в кулачок. Я рассмеялся и чокнулся бокалом с Татьяной и Даной, не спрашивая, почему она не пьет с нами. (Татьяна уже успела мне по секрету шеп-

нуть, что позавчера она сделала аборт, так как ее «пихачос» развел ее как последнюю дуру, соврав о том, что ему «можно», ибо бесплоден, но в конце концов оказался достаточно порядочным, чтобы выслать пять тысяч без лишних проводочек.)

Огромный балкон был вознесен над Братиславской на тридцать оглушающих метров, и огни внизу, мерцая,плыли, не сдвигаясь с места, как покрывало, отделяющее избранных от смертных. Великолепие Татьянинного быта поражало меня очевидем сбывшейся волшебной сказки. Разбитная бабенка, прибывшая сюда несколько лет назад откуда-то с Севера, без денег, без прошлого и будущего, из крохотного отрезка своего настоящего, она регенерировала, как морская звезда, новую жизнь. Жизнь основательную и благообразную, сытую, прочную, с повзрослевшей дочерью, выписанной из отчих мест, и с планами перевезти сюда же вырастившую ее бабу. Источник, питающий весь этот истеблишмент, был тухловат, но, как подтвердила не утратившая юмора ни на нарах, ни на северах сестрица, «деньги не пахнут». И если есть желающие получить одноразовую любовь и желающие ее предоставить, то всегда будут востребованы и те, кто умеет свести концы с концами.

Племянница, слушавшая эти откровения не в первый уже раз, захлопнула рот и убралась на исходную позицию. Туда, где я впервые в своей жизни ее и увидел: в соседнюю комнату, на пол, к пьедесталу телевизора с сериалом во лбу. Два

часа назад она сидела там же: оплывшая, босая, с мокрыми белыми волосенками, и, провожаемый к балкону, я взглянул на ее широкую спину и сразу угадал: пэтэушница.

Признаться, я был немного разочарован. По рассказам Татьяны я представлял себе другое существо: юркое, худенькое, видом своим вызывающее сочувствие и – доброе, но обманутое в своем безвредном мышинном любопытстве, вроде нашей Наташки. Хотя почему? При чем тут она? Даже тогда она предпочитала все же играть с Юрчиком, а для меня писала и развешивала у дверей своей комнаты альбомные листки с неровными печатными буквами: «Посторонним вход воспрещен»...

– Опять Наташа... Кажется, все становится понятно: просто соблазн, ошибка. Ложная возможность повторить золотой век?

– Да нет... Думаю, что нет... Тут глубже. И она, и Юрчик были вовлечены тогда в *вещность* мира, по большому счету, они не были для меня людьми, не были индивидуальностями. Просто живые приатки материальной культуры. Даже несмотря на то, что я... как бы это сказать... интересовался ее э... в общем, несмотря на даже такой интерес, меня в первую очередь влекла очередная загадка природы... а вообще, честно скажу: общение с людьми меня очень утомляло всегда, люди мне мешали.

– И ты...

– И я обходил ее (*их*) комнату и шел себе дальше. Обхо-

дил дом, выходил на террасу, разговаривал с Альфой. Вспоминал с нею Кант, его солнце и виноградник, воспаряя на пахучих токах воздуха, выносящихся из дома. Запахи человеческого жилья напоминали мне о книгах, об их пряных желтых листах, и я возвращался к ним, опять в сердце дома, мимо их комнаты. . . По мере того как я удалялся с террасы вглубь комнат, запахи корицы и ванили бледнели, теряясь и уступая место другим запахам. Запаху пыли и половой доски, исподволь пожираемой черной плесенью и грибком на веранде и террасе дома, запаху старой материи, тонкому, как наваждение, запаху мебельного лака, год от года тающего, словно лед в темных комнатах. Каждая комната пахла по-своему. В зале виноград, яблоки, абрикосы, алыча, собранные с утра в саду и сваленные в большую терракотовую чашу, к вечеру уже начинали дрябнуть и разлагаться, наполняя жаркий воздух острым, кисло-сладким ароматом гниения. Липкая влага сочилась из трещин на лопнувшей коже, и мошкара на пуантах беззвучно кружилась над пиршеством. Котлы мяса египетские. В наших детских комнатах пахло почти одинаково, но в моей был отчетливо ощутим голос ладана и восковых церковных свечей, потому что над головой у меня был поставец со старинными родовыми иконами и пожелтевшими свертками, перевязанными нитками. Именно они и пахли так возбуждающе и таинственно. Однажды, когда никого не было дома, мы с Юрчиком и Наташкой залезли туда, под самый потолок, и развернули бумажки. Там

и были они: ладан, свечи, какая-то земля. Земля пахла землей. Пылью. Перстью. А от икон пахло старым сухим деревом и чем-то кислым, чем часто пахнет от стариков. Я смотрел на потускневшие лица, на истрепавшиеся края одежд и думал, что *они* тоже старики, что им больше трехсот лет. В комнатах у брата и сестры этого не было, и я чувствовал себя единственным обладателем и хранителем семейных преданий. Наследником. Темных историй, засвеченных временем дотемна, как «святой сплав», и таких важных, что говорить кому-то чужому о них даже и нельзя, жаль только, что и *наши* уже почти забыли о них и вспоминали лишь иногда вечерами, намеком, понятным для посвященных, за

столом с вином и лагманом, когда лампочка светит изо всех сил, делая листву абрикоса натриево-желтой, а ужин – театральным действием.

У Юрчика и Наташи в комнатах было посвежее, лишь отчетливо пахли пылью тяжелые портьеры и обивка кресел, в других же комнатах я бывал редко и не запомнил запахов по именам.

Сквозняки, проходя по комнатам, собирали дыхание комнат в общий поток и выносили на кухню, где оно мешалось со сладким дурманом баллонного газа и вытекало на улицу широкими, телесными кругами, разбавляясь ветром в общем котле двора. И даже сидя на крыше курятника или качаясь на качелях, я улавливал поднимающееся разноголосье токов, похожее на голоса церковного хора, но над всем главенство-

вал камертоном запах упадка и запустения, запах небрежения. Забвения. И в грозу весь наш дом, словно озноб, охватывал еще один, новый запах. Острый, как память о редком госте, и глубокий, как вздох от испуга, зыбкий, солоноватый. Долгий. Это было, когда бабушка зажигала лампаду в моей комнате и шептала без зазрения, пред заглушенными истовой верой нами:

*Заступнице наша Дево Богородице,  
честный образ Твой,  
имже подсолнечныя концы земли удивляеши  
и мир миру даруеши,  
во образ бо Святыя Троицы являеши трие рuce:  
двema убо Сына Своего, Христа Бога нашего, носиши,  
третиею от напастей и бед  
верно к Тебе прибегающих избавляеши,  
и от потопления изымаеши,  
и всем полезная даруеши,  
...и всех всегда милуеши...*

Уповая. И дом превращался в ковчег и метался, маялся на ухабах стихии. И каждая тварь молчала, и шепот посыпался, как мелкая соль, на наши головы. И кропило, и хлестало, и веяло. Долго, долго, долго...

*Прославляет Тя, Владычицу, и умильно вопиет: не оста-*

*ви милость Твою от нас, но пребуди с нами во веки.*

И когда гроза кончалась, запах этот истончался и иссякал, как плачь.

Тогда в моей маленькой комнатушке, где хранились Псалтырь и Библия, с особенной силой начинало пахнуть чем-то ветхим, музейным, оставлявшим на зубах привкус металла. Я задираю голову, стремясь рассмотреть средства индивидуального спасения, и волглый ворот рубашки охватывает шею, как петля. Вверху кружились раскольнические иконы, эти негативы лучшей жизни, свидетельствовавшие о том, что где-то *там* есть и позитивы, и где-то существуют люди в белых одеждах, мудрые старцы и кроткие женщины, исполненные любви. На черных квадратах были различимы черты тех, кого хорошо знаешь лишь в детстве. Одигитрия. Исус. Святых на периметре было почти не различить – тоннельное зрение богомаза оставило нетронутым одну центральную фигуру. Крохотные человечки, тулящиеся под, над, справа и слева. Таинственный вертеп, невидимое действо. Связные. Малые сии. Зеркала два и два, поставленные против. Мои, влажные, блестящие, аспидные, алчущие и преходящие. Его – невидящие, сквозные, вечные. Прощение средоощающим ся. Но сморгнул – и фокуса нет. Встретимся на середине. Господи, помилуй мя.

*...яко отвсюду врагами окружени есмы...*

Не сразу, но ступив однажды, смущаясь и медля, я ползал

улиткой по комнатам, пересекая невидимые, но ощутимые границы холода и тьмы, озноба и мления, отвержения и торжества. Разбирал сплетения переходов, пронимал каморки и, дойдя до последней, шел далее, углубляясь в тайные уголки своей души. Открывал, исследовал. Ничего, кроме полумрака. Неосвященные углы...

– Тогда ты полюбил сумрак?..

– Нет... Просто я открыл для себя еще один оттенок бытия. Пепельно-серый. Оттенок, в котором ты слышишь, как вещи говорят с тобой. И тебе совсем не сложно внимать им и отвечать. Сложнее привыкнуть к нему после ликующего света дня. Это напоминает конец урока, когда звонит церковный колокол, и тебя наконец-то отпускают играть, и ты суешь пыльные ноги, которыми тайно чертил в пыли «Гервь» и «Оук», в горяченные сандалии, встаешь, закрываешь эту книжищу...

– Какую «книжищу»? Псалтырь?

– Да, рукописную Псалтырь – по ней бабушка учила меня читать – закрываешь и уносишь сделанный дедом табурет в дом, прихрамывая от колющих подошвы камешков... «Гервь» и «Оук». Тайное становится явным.

А потом Псалтырь нужно было относить через улицу, бабе Зине. Ну, или отдать Татьяне, чтобы она занесла книгу в дом. Мне заходить в их дом не хотелось – чтобы двигаться там, требовалась аккуратность, мне несвойственная... Да и вообще, я предпочитал быть на солнце. А с некоторых пор у ме-

ня появилась новая мания: я исследовал угольные кучи. Дома в Канте топились углем всегда, с самого его основания, и отец мне рассказал, как в детстве, набирая в ведра уголь для печи, он нашел на одном куске отпечаток целого листа какого-то древнего растения. «Отпечаток листа древнего растения! Целый!» Я потерял покой. Я завидовал отцу и проклинал его, потерявшего где-то в переездах этот обломок. Я сходил с ума, снедаемый жаждой открытия, жаждой обладания, жаждой приобщения к *этому*: к тайне, ставшей явью. Я представлял себе лоснящуюся поверхность с тонким силуэтом вдавленных проволочек ксилемы, испарившейся под дыханием веков, в ладони. Негатив жизни. Где-то там, в кровеносном нутре себя, как в толще угольных пластов, я видел застывшие в бешеном токе времени листья, ветви, – да что там! – целые стволы исчезнувших папоротников, хвощей и дрожал от предвкушения находки. Вынести на свет божий древнее, сокровенное, невиданное – каково? Взять в руки жившее миллионы лет назад, это же как спуститься *туда*! Тайные внутренности, внутренности мои и внутренности земли – все это соединяли сны, не кончавшиеся ни ночью, ни днем. Мысленно я касался их, вздрагивая, словно запускал пальцы в собственные отверстые раны на животе, и ошупывая округлое, овальное, протяженное, *заповедное*. Я перебирался от дома к дому, день за днем, год за годом, пока, тридцать лет спустя, не нашел своих первых аммонитов в глинистых ундорских сланцах на Волге, чьи теплые воды береж-

но омывали тяжелые пластины со спиральными отпечатками на самом мелководье, у поросшего соснами берега. Моментальные снимки вечности. Какая, однако, выдержка!

«+7 999.....

*У меня проблемы. Ты можешь дать мне денег?»*

«+7 888.....

*Пятнадцать хватит?»*

«+7 999.....

*Да»*

Хотя время шло, и я менялся. К тому же, как ни притворяйся, солнце, это все же была стихия Юрчика, а я как уроженец северных мест большую часть жизни обитал под облаками. Сначала я тешил себя мечтами, что мы наконец переедем сюда с отцом, как он часто обещал мне и своим друзьям, чтобы жить одним, без матери, но потом я понял, что мечты эти никогда не сбудутся, а его разговоры будут бесконечными. Ничего не оставалось делать, как смириться с домом, где я жил. Со своей сумрачной комнатой и одиночеством – друзей, как я сказал, тех, что еще оставались, я с легкостью утратил сам. Со временем мне даже стало нравиться в моем углу, хотя как-то исподволь начало тревожить ощущение присутствия в доме кого-то постороннего, того, кто бесшумно проскальзывал по самому краю зрения, когда я был один. Этот «кто-то» не чинил мне вреда, но при од-

ной только мысли о нем моя кожа словно покрывалась рябью. Думаю, что ужаснее всего было понимание его *инакости*. Понимание того, что он появляется здесь из какого-то другого мира. И вот это вселяло панику. Я не знал, что делать с этим открытием. Что делать с мыслью о том, что помимо нашего мира есть мир иной. Ни возможный вред, который могли мне причинить тот мир и этот некто, ни даже сама встреча с ними, а простое осознание того, что *это* есть, обездвигивало меня. Потом мне стали сниться чудесные летательные аппараты, которые возникали в небе над нашим поселком вдруг и из ниоткуда, надолго зависали в воздухе, а потом стремительно падали и разбивались, горя бездымно, бесшумно и страшно. И со временем непроницаемая стена, отделяющая мир этот от мира иного, стала для меня как бы тусклое стекло, и я перестал быть одиноким и стал слышать голоса тех, кто был здесь и ушел задолго до меня, и стал видеть, что было и что будет, и что происходит с близкими ныне, но живущими далеко.

– Стал провидцем?

– Нет, не провидцем... У меня появилась способность видеть, *что* произойдет, но я не мог знать – когда. Я знал *с кем*, но не знал *как*. Стекло было тусклым... Не я говорил о будущем, но оно само говорило через меня. Помнишь, я рассказывал о том, как женился в первый раз? Я ведь не понимал тогда, *что* говорю друзьям, просто это из меня выскочило само, я даже не успел осознать смысл сказанного. Но со вре-

менем я научился лучше понимать эти озарения, а сами они стали уже не столь спонтанными. Мало-помалу я наловчился приподнимать завесу именно над тем, что меня...

– Интересовало...

– Нет. *Волновало* больше всего. Язык времени – это язык эмоций, и разум ему чужд. Поэтому у времени можно только *выпросить* что-то, но не убедить его дать это «что-то». Я научился выпрашивать. Но иногда это приходило само. Я чувствовал... Хотя нет, раньше... Раньше... да, сначала меня просто замучили дежа-вю – это началось лет в десять – причем если обычно так называют лишь пассивное ощущение того, что события, происходящие сейчас, уже случались, то есть как бы только с оглядкой назад их можно назвать повтором, то я в такие моменты доподлинно знал, и что произойдет дальше. И часто «предсказывал» своим приятелям поступки, которые они совершат сей же час, чем доводил их до белого каления – ведь они не знали об этой моей способности и злились, считая, что я просто издеваюсь над ними и над их предсказуемостью. Но бывало и так, что я не видел ни озарений, ни вещих снов, но день за днем томился неясным предчувствием, словно был беременен...

– Опять? Как словами?

– Да, именно, как словами и стихами, что стали мне сниться. Но только это ни к чему хорошему не приводило: тяжесть предчувствий просто парализовывала меня, и я замирал, как осенняя муха, когда они накатывали, почти не двигался. Од-

нажды отец с утра отправил меня окучивать картошку на делянке за домами поселка и, придя в обед мне на помощь, застал меня с тяпкой в самом начале грядок – за три часа я не сдвинулся с места, вытягиваясь вверх и обнимая солнце, наблюдая, как слоится перед глазами воздух. К четырнадцати годам стихи, озарения, тоска и загадочная женская плоть слились для меня в одно и стали океаном, на волнах которого я качался с утра до вечера. Должен сказать, что для меня это было мучительное время, поскольку все постоянно пытались помешать моей нирване. Тупые друзья, злобные одноклассники, учителя, которым было наплевать на все, кроме своих учебных планов, и мать, которая просто озверела к этому времени. Мне было хорошо только с отцом. Я помню, как однажды мать, забрав брата, уехала на курорт, а мы остались с отцом вдвоем. Я дожидался его вечерами с работы, и мы смотрели кино «Мамлюки» и «Лимонадный Джо» – любимые фильмы его детства, и он мне рассказывал свое детство, как самую лучшую в мире книгу, полную приключений и веселых историй. Кстати, в один из выходных дней мы сходили с ним на черный рынок, который раскидывался по выходным на татарском кладбище, и купили там один из томов «Мира приключений». Днем его читал я, а вечерами – он, забегая далеко вперед, и смеялся в каких-то местах, а я мучился и завидовал, выпрашивая: «Что там, а? Там смешно, да?». И следующий день начинал с поиска этих самых смешных страниц... И еще он говорил мне, как скоро выйдет на

пенсию – она полагалась ему досрочно, за вредность, и мы уедем жить во Фрунзе. А мать пускай остается здесь – его же здесь ничего не держит. Я радовался, представляя себе, как мы уедем и заживем все вместе у бабушки, но никак не мог понять: какие планы у него насчет моего брата? Оставить с матерью или забрать с нами? Брат был такой прозрачный, почти бесплотный, но я все никак не мог разглядеть, что у него внутри... А однажды нас разбудила гроза: грохот стоял просто оглушительный, и в комнату, сквозь раскрытые окна хлестали такие широкие струи, что стекло под ними совершенно не было видно, и сначала мы подумали, что окно разбилось, а осколки его лежат теперь на полу и, сев на диване, мы смотрели то на рамы, то на пол, и в отблесках молний лужи на полу сверкали, как битое стекло.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.